ЕЛЕНА ВИШНЕВСКАЯ

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Актриса о жизни, войне, немецком плене

Мемуары «Под счастливой звездой» актрисы Елены Вишневской были ранее напечатаны в сборнике «Скитания по родословным» в 2003 году, в нем рассказывалось о роде Вишневских, восходящим от серба Теодора (Федора), разбогатевшего на снабжении армии Петра I токаем, получившего звание полковника. Более того, полковник Вишневский привез из Украины певчего Гришку Розума, познакомил его с будущей императрицей Елизаветой (вскоре он стал ее любовником и графом Григорием Разумовским). Дочь Веры Вишневской (замужем за князем Долгоруковым) – Екатерина Долгорукова долгое время была любимой женщиной императора Александра II, потом морганатической женой, родила от него детей, а после его трагической гибели уехала в Ниццу.

В сборнике были очерк великого русского писателя Н. Лескова о Вишневских и воспоминания ветерана разведки М. Любимова, женатого первым браком на актрисе Екатерине Вишневской, дочери Елены. В браке на свет появился известный телеведущий программы «Взгляд» Александр Любимов.

Ниже приводится с некоторыми сокращениями предисловие к упомянутому сборнику выдающегося литературного критика нашего времени, писателя Льва Аннинского.

Лев Аннинский

СРОДНИКИ

«...Дело главным образом теперь не в критике, от которой все именуемые здесь лица ушли уже в царство теней, а в сохранении на память потомству удивительной непосредственности их характеров и прихотливой оригинальности их жизни».
Н. Лесков. Эпопея о Вишневском и его сродниках.

У Михаила Любимова хорошие соавторы. Я имею в виду не только Николая Лескова, чей текст бликует и светится в родословном томе. Лесков – фигура «самоигральная», и хоть «эпопея» о Степане Вишневском не так широко известна, как вошедшая в фольклор «эпопея» о косом Левше, – рука великого изографа видна в любой вырезанной им строчке, и коварная интонация дышит в каждой фразе: «Степан Иванович был атлет и богатырь, а также хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование...».
Каленая, соленая, Гоголем опрокинутая в зенит русская классика!
Однако среди дальних потомков прекрасного Степана Вишневского уже в наше время, в век двадцатый, тоже преужасный и тоже имеющий образование, обнаруживается артистичная натура, именем Елена, фамилией – в пращуров – Вишневская, чья мемуарная повесть, смею думать, достойна войти в синодик свидетелей новейшей истории. Она-то и становится вторым стереофоническим соавтором Михаила

Любимова, но о нем, как авторе и координаторе тома о «сродниках», посланных ему судьбой, чуть позже, а сейчас – о Елене Вишневской. В ее слоге нет, конечно, лесковской дьявольщинки. Это чистый, ясный и высокий голос прямостойкой души; качества этой души, в сочетании с явной литературной одаренностью, и держат повествование. Рука чувствуется. Вот – о раннем детстве. Страх – основное самочувствие «того существа, которое в дальнейшем стало мною». А вот – из фронтовых записей 1942 года – трупы в зеленых мундирах: «впервые я увидела немцев, вернее, то, что когда-то ими было». Это уже не Гоголь, конечно. Это – XX век, рассекающий реальность на пласты. «Вещество существования», – называл эту слоистость вещун катастрофического века Андрей Платонов. Актриса, лицедейка, красавица, не чаявшая браться за перо, – когда и как она поймала эту рефлексию шизофренического времени? «Меня нет, есть только моя спина»... Это – когда при выходе из окружения сзади раздается: «Хальт!» – «Понимаю, что надо повернуться... Сейчас я увижу немцев, – проносится в мозгу...» Она их увидела потом столько, что повесть ее о немецком плене должна встать в летописи Второй мировой войны в ряд с повестями Вайвериса, Элии Визеля, – но сейчас я только о «хрусталике», о самом типе видения. О том, как передано. «Через проволоку влюбленные сплетают руки... застывают в поцелуе, неизбежно целуя и разделяющую их проволоку». Интересно, какими словами схватил бы эту «психопатическую» реальность Лесков? Вишневская увидела ее не только в облике солдат вермахта, поливающих огнем массу русских окруженцев. Она ее увидела в чистеньком интерьере квартиры «герра директора», каковую пришлось скрести, мыть, убирать, когда послали в прислуги. Нашла записку, случайно

оставшуюся от любовной игры хозяев: «Мой любимый муж, я хочу спать. Твоя Герта. Хайль Гитлер!» Не выдержала. «При чем тут Гитлер?!» Автор «Железной воли», живописавший подвиги далекого предка Елены Ивановны, мог бы ответить на этот вопрос: «Таковы были дикие поступки, которые теперь, в наше порицаемое время, были бы невозможны, или их, наверное, нынче зачли бы за психопатию». Впрочем, вот картинка из того самого времени, которое порицает Лесков. В доме – экономка, закоренелая старая дева. «Мальчики Трубецкие (внуки старой княгини) суют ей в постель чучело мужчины, после чего эта экономка окуривает свою каморку и кропит ее святой водой». Надо ли что-нибудь прибавлять к этой зарисовке, чтобы она вросла в лесковский текст? Меж тем это из повести Елены Вишневской. Причуды старобарского быта диктуют ей интонацию «пожатия плеч»: интеллигентка советских времен смотрит на реальность прямо и страстно. Лесков – с коварной хитрецой… Лесков мудр, как змей. Он выдублен веками. Он видит свое время через призму овеянного легендами Екатерининского века, но смотрит из своего века, не веря в благостность доставшегося ему «времени прогресса», и потому добавляет в палитру толику веселого яда… Вишневская – в центре пекла. Поэтому я начинаю с нее. Итак, истоки. Родословное древо, раскопанное сотрудниками «Киевской старины» при Александре III, а корнями уходящее во времена петровские, – обнажает то ли венгерские, то ли сербские истоки. Шаг в сторону: тетка отца выходит замуж за князя Долгорукого, от брака с 5 которым рождается дочь Катрин, впоследствии чуть не ставшая императрицей при Александре II. Шаг в другую сторону: сестра отца выходит замуж за князя Трубецкого, то ли Рюриковича, то ли Гедиминовича, там царят легенды, а главное: брат

князя – декабрист. Таким образом, на родословном древе Вишневских переплетаются ветви венценосные и бунташные, над коим парадоксом и задумывается Елена Ивановна, извлекающая имена из старых гербовников. Лесков объясняет парадокс «В мире все причинно… и потому в цепи могут изменяться фасоны звеньев, но тем не менее звено за звено держится, и одно к другому непременно находится в соотношении». Когда Лесков говорит это, у него, как у его героя Степана Вишневского, «один ус смеется». Прапра…внучка его героя, Елена Вишневская воспринимает такие вещи иначе. Ей, как правило, не до смеха. Хотя в ее жизни «звенья» сшибаются еще и похлеще, чем у чудака-пращура, который нанося в Петербурге обязательные визиты, передвигался на малороссийском возу, запряженном волами. Елена Ивановна ни возов, ни волов не видела, хотя родилась на Украине. Детство ее прошло «среди сдобных праздничных куличей и розовых гиацинтов», в загородном поместье ее деда-камергера либо в киевской квартире родителей, за тяжелыми занавесями, отгораживающими богатую, сытую, праздную семью от случайных контактов с нищими, шарманщиками и обитателями сырых подвалов. Жизнь, опасным потоком текущая за окнами, в конце концов по законам интуитивно выстраиваемой художественной системы оборачивается потоком окруженцев 1942 года, криком «хальт!» за спиной, быстрым шепотом украинок, выдергивающих из потока тех, кого они надеются спасти. В центре этих скрещивающихся потоков – я имею в виду художественную структуру «неструктурированного», «простодушного» мемуарного текста – потрясающий образ. «Я выросла в атмосфере дворянских, помещичьих интересов. Слово «большевики» в то время произносилось в нашей семье с большой тревогой. «Кто

такие эти большевики?» – все чаще и чаще стала я думать. Так хотелось их увидеть. Однажды в один из дней затишья я вышла на нашу улицу. На тротуарах стояли толпы прохожих. Все смотрели в сторону Крещатика, и я увидела, как оттуда по мостовой Фундуклеевской улицы поднимается в гору какая-то темная масса людей. По мере приближения затихали оживленные разговоры горожан, и, когда первые ряды идущих поравнялись с нами, установилась на улице уже полная тишина. И в этой тишине плечо к плечу тесным строем, с винтовками за спинами, в темных, рваных кепках, картузах или с забинтованными головами, со следами крови на бинтах тяжелым шагом шли какие-то серьезные, очень усталые люди. Что-то простое, ясное и вместе с тем чрезвычайно значительное было в их лицах, необычайная сила исходила от них. Это была какая-то мощная лавина людей, уверенных в своей правоте. Как зачарованная смотрела я на них. Кто-то за моей спиной восторженно произнес: «Большевики!» Более это слово не появляется в мемуарах Елены Вишневской. Но что-то отзывается в ткани повествования – когда командование части успокаивает приехавшую театральную бригаду, еще не знающую, что происходит: «положение очень серьезное, мы в окружении, но попытаемся помочь вам, товарищи артисты, вырваться», а когда вырваться не удается, – раненый командир части подымается во весь свой богатырский рост и выкрикивает проклятья подступающим гитлеровцам – автоматная очередь прекращает его мученья. В его последней решимости откликается решимость тех усталых людей, что шагали по Крещатику. О Советской власти писали всякое: оды, разоблачения. Или «Железный поток», или адская дьяволиада. А это – показания очевидца, только. И ни слова – ни о «власти»,

ни о «партии», ни о «планах и программах». Артистка Вишневская живет вне этих идеологем, она чувствует как чувствует, – нервами, пластикой души. «Лавина людей, уверенных в своей правоте...» Лавина окруженцев, превращающихся в толпу... В таком контексте ее собственная жизнь обретает новый смысл. Она кажется изначально путаной, сбивчивой, полной неясностей. С самого раннего детства ощущение «унизительной неразберихи»: в куче братьев-сестер, воспитывающихся матерями и тетками, собранными вокруг деда, невозможно понять, кто кому кем приходится. Все отчества подложны, и все покрыто завесой: тайные связи, тайные усыновления, чья-то импотенция, чья-то амурная неудержимость. «Зачем и кому была нужна эта дурацкая конспирация, эта унизительная неразбериха?.. По-видимому, неписаные законы высшего света требовали сохранять в тайне отклонения от добродетельного образа жизни, а отклонений этих в дворянских семьях было предостаточно». В дворянских? А мы-то думали, что практика вольного эроса занесена в 20-е годы в наши добродетельные Палестины безумными революционерками вроде Александры Коллонтай... Выходит, и в благодатной старорежимности расцветали все те же цветы? Кто это объяснит? Лесков, конечно. Ибо в его «эпопее» верная супруга Степана Вишневского не только усердно поставляет неистовому мужу дворовых девушек в постель, но и выхаживает его внебрачных детей, по каковому поводу автор «эпопеи» невозмутимо констатирует «редкий дар любви со стороны Степана Ивановича, потому что великое множество его детей были писаны за ним «душами» и благополучно исправляли панщину на его полях». Елена Вишневская подобной «панщины» не застает. Она констатирует с честным пожатьем плеч: «Отцы и матери не признавали

своих детей и не несли за них никакой ответственности… Мой дед полностью содержал их, да не только их, но и других возможных родственников…» А в свой час – без прямой связи – тихий голос девочки в колонне угоняемых в Германию «остарбайтеров»: – Тетя, скажить, шо вы – моя мама. Я боюсь… Лейтмотив – это связь потаенная, не зависящая от доводов, неуловимая и потому неодолимая. Вот так же – без видимой связи – о том, что дедушка и окружающие его бабушки «проявляют необыкновенное хладнокровие и выдержку»: они во время обстрелов никуда не прячутся, а играют в карты. За окнами лавина людей, уверенных в своей правоте, сметает старый строй, дедушка вот-вот потеряет все, а он только велит перенести ломберный стол из гостиной в столовую… Через все занавески и барьеры сквозит фаталистическое ощущение общего потока, и именно оно, это ощущение слитности со всеми, перешедшее от царского камергера к его внучке, артистке Театра Красной Армии, помогает ей сохранить личное достоинство. Личное достоинство – во всесметающем потоке? Да. И это самая потаенная, интуитивно постигаемая загадка исповеди, оставленной Еленой Вишневской. Вот два эпизода, срифмованные чистым нравственным чутьем. Первый. Середина октября 1941 года. Театр Красной Армии срочно эвакуируется из Москвы. Артистка Вишневская первым трамваем едет на пункт сбора. «Я смотрела на суровые лица рабочих, едущих со мной в трамвае, и мне как-то стыдно было за свои чемоданы, будто я бегу от опасности…» В самом деле, как должны реагировать рабочие на эту отъезжающую даму, когда по улице Горького дома укрепляют для уличных боев и рабочие на заставах вытряхивают из машин, намылившихся бежать начальников и возвращают их в город? А вот как: «…Но

вот надо выходить из трамвая. Один из рабочих, пожилой широкоплечий человек, коротко сказал мне: «Я помогу вам», взял часть моих вещей, донес их до подъезда и поставил на тротуаре. Я хотела крепко пожать ему руку, но, повернувшись, увидела уже его спину, удалявшуюся от меня. Вдогонку я крикнула слова благодарности, человек дружески помахал в ответ рукой…» Второй эпизод. Осень 1943 года. Германия. Завод. Остарбайтеры. «…При выходе из цеха я почувствовала, как в мою руку кто-то вложил небольшой сверток. В столовой я развернула его и обнаружила дивный бутерброд с колбасой. Кто мой благодетель, я не могла понять, он ничем не выдал себя в толпе. На следующий день все повторилось. Я была начеку, ждала и заметила человека, который приблизился ко мне. Это был старик – немецкий рабочий. Быстро сунул мне сверток и, не глядя, не сказав ни слова, прошел мимо. Я прошептала слова благодарности, но он не оглянулся…» Какое запредельное чутье продиктовало перу эти переклики: помог… не оглянулся… Через линии разрывов, окопов, обстрелов звучит сквозная мелодия человеческой солидарности, спасающей души на грани жизни и смерти. Вот еще одна очная ставка. Пунктуальная немка, хозяйка квартиры, оставляет прикомандированную к ней домработницу убрать комнаты, а сама отбывает за покупками. Убравшись, прислуга вдруг замечает, что квартира пронизана солнцем, что в тишине послеобеденного часа она в квартире одна, что обстановка такая, будто никакой войны вообще нет. Размечтавшись, прислуга со знаком «0ST» на одежде садится за пианино в будуаре фрау и, вспомнив уроки детства, играет «Патетическую 8 сонату». Дальше: «Я почувствовала чей-то взгляд. В дверях стояла Эффа… Невозможно передать выражение ее лица! Изумление и

растерянность чередовались на нем с недовольством и… оскорбленностью. Секунду мы смотрели друг на друга в молчании, затем она процедила сквозь зубы: «Не так быстро надо играть Бетховена», – и ушла с покупками на кухню…» Еще раз вслушайтесь в развертку смены чувств в душе хозяйки, принадлежащей к высшей расе: изумление… растерянность… неудовольствие… оскорбленность. Вы можете что-нибудь добавить к этому скальпельному срезу? Сама Елена Ивановна спрашивает не очень уверенно: «Может быть, это национальная черта?» Лесков хитрее. У него так: «Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного нрава – один как Гераклит, а другой Демокрит». С этой лесковской приправой и переходит исповедь советской артистки в руки ее зятя, которому предстоит стягивать эти концы и даже примеряться к кресту, который тащили сродники. О кресте – в финале исповеди Елены Вишневской. «В это время наш знак «OST» был заменен другим: в овальной рамке из цветов синий крест наподобие старинного Андреевского». На первой странице родословия Вишневских – герб. Щит окружен рамкой из цветов, на щите – старинный Андреевский крест. Дворяне – под микроскопом. Это, наверное, знак времени: то, что скрывалось за семью замками в первые двадцать лет Советской власти, еще через двадцать лет выходит на поверхность, а еще через двадцать становится чем-то вроде опознавательного знака. Воспоминания Елены Вишневской начинаются с фразы: «Мой отец и дед были дворяне». В устах интеллектуалки, сердцем принявшей Советскую власть, это честное признание звучит особенно впечатляюще. Но чем объяснить такой интерес в душе чекистского отпрыска, который с младых ногтей все «титулы и прочую экзотику» видал в гробу? Это и есть главный вопрос.

Долгий путь к ответу лежит через презрение юного пионера и пылкого комсомольца к беспечной жизни захребетников, с которыми он знакомится по рассказам и пьесам Чехова: бессмысленность жизни, проходящей в пикниках, катаниях, семейных вечерах настолько вопиюща, что раздающиеся там возгласы «надо работать» не вызывают ничего, кроме смеха Тем более гоголевская идиллия: «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович? – Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я», – тошно от этих картин будущему разведчику, дипломату, эрудиту, для которого песенка Окуджавы о «комиссарах в пыльных шлемах» станет подтверждением правого дела, – надо было лишь привить любимой Советской власти поболее доброты и ума («а она, дура, упиралась»). «Когда я полюбил Катю Вишневскую, мысль о ее генеалогическом древе не тревожила мою глупую голову. Тем паче, что Катя не склонна была распространяться на эту тему, относилась к своему дворянству с иронией и предпочитала беседы о театре и поэзии». Катя Вишневская – дочь Елены Ивановны Вишневской. Разумеется, «шестидесятница», в душе которой «надежды маленький оркестрик» и «Архипелаг ГУЛАГ» поселились рядом с ненавистью к власти чистогана, может с иронией относиться к «автоматически дарованным привилегиям дворянства». Но характер она все-таки наследует от своей матери: непреклонность, гордость, честность и готовность в любой момент и кому угодно врезать правду-матку. Вот бывший резидент, накануне снявший напряжение старым казачьим способом (дело происходит в Ницце перед походом на русское кладбище, где похоронен один из Вишневских и княгиня Юрьевская, дочка Веры Вишневской), ищет, чем опохмелиться. Он с отвращением обозревает груду круассанов, стакан

апельсинового сока и прочую немочь европейского сервиса: «Какая гадость! – сейчас бы огуречного рассола...» С этою мыслью он спускается в гостиную, видит арфу и ядовито замечает: «Не хватает дамы в белом, бренчащей Баха». Прошу прощения за дикую аналогию, наведенную чисто художественным созвучием мотивов, но у меня на языке вертится фраза: «Не следует Баха играть так быстро...» Юмор требует жертв. Надо знать, когда и где остановиться. Когда наше поколение уйдет к праотцам, присоединится к длинному синодику Вишневских и тех, кому они служили «шашкой и чаркой», тогда не исключено что-нибудь в стиле: «Разгильдяй Петр верил Мазепе». Но не теперь, когда из-под юмора «озлобленного пролетария» на мгновенье обнажается то, что связывает его потаенной нитью со старорежимными героями родословного поиска: «Мы были удивительными патриотами. До скрежета зубовного». Скрежета вы более не услышите. «Представитель победившего класса» распутывает любовные и матримониальные связи своего дальнего свойственника, точнее, тещиного дедушки, еще точнее: того самого камергера, который собрал вокруг себя «гаремчик из постоянных дам» и вырастил кучу детей и внуков. Хитроумие идет по следам хитроумия. Дед был скрытен, и только из дневников Елены Ивановны удалось выяснить, что ее матушка отнюдь не была обыкновенным подкидышем, как говорили в доме, а родилась в результате незаконной связи Гавриилова братца Владимира Вишневского, сидевшего у Гавриила фактически на иждивении. «Пусть не будет таким богатым!» – оправдывал свой поступок Владимир. Там, где прямодушная Елена Вишневская гневно отметала атмосферу недомолвок и фарисейских выдумок, царившую в доме деда, Любимов по поводу детей,

прижитых этим дедом на стороне, восклицает: «Молодец!» Делая вид, что шутит, Любимов на самом деле прикрывает чистую правду: он действительно восхищен. Лесков в этом случае прикрывал обман обманом, соединяя «бестолковщину» с «хитростью»: он восхищался «психопатом» как бы потому, что психопат – настоящий. Любимов восхищается по другой причине. Кое-что объяснено прямо. И тоже подхват Лескову. У того благородный дворянин в смычке с крепостной крестьянской дворней противостоял «крапивному семени» чиновников. У Любимова же… У Любимова любимый сын Александр, который соединил наконец любимовские гены с генами Вишневских (и в роли телеведущего, как помнит вся Россия, разнимал в разгар перестройки передравшихся «в прямом эфире» Жириновского и Немцова), – Александр Любимов выдает то, что он унаследовал от вечно шутящего отца: «Мне всегда нравилось, что с другой стороны, по отцу, мы из крестьян. В сочетании крестьян и дворян – какая-то стабильность… В нашей семье, во всех ее крыльях, было что-то объединяющее… Аристократическое… Бремя белых». Это-то бремя белых и несет, притворяясь, будто ему легко, отец знаменитого телеведущего, старый разведчик, матерый беллетрист Михаил Любимов. Он растит родословное древо. Маркирует бесконечных Иванов и Гавриилов, чередующихся в роду Вишневских, продирается «сквозь чащу родственников» с терпением, каковое первые русские историки демонстрировали, маркируя первых Иоаннов на древе Рюриковичей. Только, в отличие от последних, Вишневские собирали не земли, а капиталы: «…торгаш серб провел первоначальное накопление… а потомки его, в основном, лишь с умом и без ума проедали накопленные богатства, хотя и верно служили Отечеству». «Отечество»,

прикрытое усмешкой, как спасительной завесой, и есть та сверхценность, которая держит всю систему оценок, хотя можно подумать, что сродники, проедавшие накопленные богатства, достойны одной только критики. Дело не в критике, от которой вышеупомянутые предки ушли уже в царство теней, – дело в сохранении памяти об удивительной непосредственности их характеров, о прихотливой оригинальной их жизни. Чему и наследуем.

ЕЛЕНА ВИШНЕВСКАЯ

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

То, что мой отец и дед были дворяне, я неоднократно слышала в детстве и потому, будучи человеком правдивым, когда заполняла, в дальнейшем, разные необходимые для моей работы анкеты, я, не задумываясь, писала в графе «социальное происхождение» – из дворян. В 30-е годы такая наивная откровенность могла окончиться для меня трагически, но, как видно, мне всегда в жизни везло.

В семье говорилось, что наши предки – венгры. Говорилось о погребах венгерских вин в России, но все эти сведения были кратки и неопределенны. Затем, читая впоследствии Н. Лескова, я обнаружила рассказ под названием «Эпопея о Вишневском и его сродниках»; в котором описывалась жизнь некоего самодура, Степана Ивановича Вишневского, полная добродушно наивных, а порой и диких выходок (во время царствования Екатерины II). Я никогда не слыхала, чтобы кто-то из моих родственников носил имя Степан. Считалось, что из поколения в поколения чередовались только два имени – Иван и Гавриил. Так, отец прадеда, был Гавриил, прадед – Иван, дед – Гавриил, мой отец – Иван. Если бы я родилась мальчиком, то меня назвали бы – Гавриил. Однако упоминание Лесковым имений Вишневского – Фарбованая и Сосновка доказывало, что речь идет

действительно об одном из моих предков, т. к. в имении Фарбовано я жила в детстве и альбом с фотографиями дома и усадьбы находится у меня и поныне.

Вопрос о моей родословной остался открытым и, признаться, настолько мало меня интересовал, что я не предпринимала никаких попыток его уточнить. Прошла большая жизнь, полная крутых поворотов, и вот на ее исходе мне присылают друзья бандероль. Открываю ее. Передо мной фотокопия ежемесячного исторического журнала «Киевская старина» – май 1887 г. На странице № 73 читаю: «Род Вишневских». Итак: родоначальником Вишневских был Федор Степанович Вишневский, серб, уроженец Белграда, вышедший из

так называемой Рагузской республики, славившейся в XIV–XV веках на берегах Адриатики.

Курьезных фигур и положений было немало в этом роду.

Разве не сплошной курьез натура и поведение моего прапрадеда, о котором (с некоторым искажением) так красочно написал Лесков?

Но самый большой курьез подстерегал меня в дневнике родного деда – Гавриила Ивановича, из него я узнала, что, оказывается, тетка (сестра его отца – Ивана Гавриловича) Вера Гавриловна вышла замуж за князя Михаила Долгорукого, от брака с которым родилась дочь – Екатерина (Катрин), крестным отцом которой был царь Александр II, женившийся впоследствии на ней. Она стала морганатической женой царя, от которого у нее было две дочери и сын. Александр II собирался короновать Катрин Долгорукую, но не успел, был убит.

Маленькая дворянка Леночка Вишневская.

Из журнала «Прометей» № 11, статья Ю. Давыдова «Никто и никогда не узнает наших имен»:

«Со слов генерал-адвоката Рылеева, некое «неустановленное лицо» записало вот что: «Государь сказывал, что мать будущей Юрьевской вышла к нему на одной из станций южных дорог и стала жаловаться на свое расстроенное состояние, прибавляя, что у нее в Петербурге, в Смольном, дочь, которая останется бесприданницей.

- **Окажите, ваше величество, ей милость. Государь говорил, что он давно забыл об этом и вспомнил только при каком-то посещении Смольного института. Она ему сразу понравилась, и при дальнейшем посещении он заключил, что она его полюбила.**

- **Но клянусь, что я не касался до нее до тех пор, пока доктора не предъявили мне, что она зачахнет от любви».**

Далее Юрий Давыдов пишет, что Екатерина Долгорукая была на 30 лет моложе своего могущественного покровителя. Подробности любви монарха и княжны-бесприданницы описаны Морисом Палеологом, который представлял Францию при последнем Романове.

Александр II, еще будучи великим князем, сочетался браком с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской. Когда «будущая Юрьевская», еще была в пеленках, означенная чета уже обзавелась детьми. А когда «будущая Юрьевская» танцевала полонез на институтских балах, великий князь Александр,

сделавшийся Александром II, не испытывал уже к своей болезненной супруге ничего, кроме холодной сдержанности. Катрин Долгорукая поселилась в Зимнем. Ее назначили фрейлиной. У нее появился банковский счет, вилла в Ливадии и т. д. и т. п. У будущей Юрьевской рождались дети. В мае 1880 года императрица умерла. И вскоре Александр II обвенчался с княжной Долгорукой. В числе ее предков был Юрий (сын Владимира Мономаха), и Долгорукую нарекли светлейшей княгиней Юрьевской. Император не хотел, чтобы брак был морганатическим, он хотел короновать жену, чему очень противился его сын – наследник Александра II, грозивший в случае коронования уехать в Данию. В ответ Александр II пригрозил ему лишением престола в пользу Георгия – своего сына от княгини Юрьевской.

После смерти Александра II княгиня Юрьевская мгновенно утратила все свое влияние. У нее был крупный капитал – почти 3 1/2 миллиона рублей, который был предложен Александру III. Но он отказался от этого. Вдова Александра II – светлейшая княгиня Юрьевская уехала в Ниццу. Умерла она там, в 1922 году, 75-ти лет от роду. (Известны мемуары Юрьевской, под псевдонимом «Виктор Лаферте».)

Пока она была супругой императора и находилась в Петербурге, дед и бабушка не могли иметь с ней близких отношений, но, проводя зимние сезоны в Ницце, они впоследствии дружили с ней, часто навещали ее, были с ней как со своей кузиной. Разве это не серьезно? Получается, что жена царя являлась моей двоюродной бабушкой.

Парадоксы истории.

Другая моя родственная линия представляла из себя старинный род князей Трубецких. Сестра моего отца, т. е. моя тетя Маруня, стала женой князя Владимира Петровича Трубецкого. Их дочь Муся (моя двоюродная сестра) говорила, что Трубецкие потомки Рюриковичей. Еще за 20 лет до Гедимина и Ольгерда они удельно княжили в XIII веке в городе, который назывался Трубецк. Впоследствии он был переименован в Трубчевск. Там до сих пор сохранились погребения Трубецких. Как в дальнейшем разветвился этот род, она не знала, но помнила; в семье говорилось, что они Гедиминовичи.

Мария Владимировна Трубецкая (Муся)
в 1960 г.

Самое же интересное заключается в том, что прадед Муси – князь Александр Петрович Трубецкой был родным братом декабристов Сергея и Петра! Да и сам ее прадед привлекался по обвинению в причастности к «Союзу благоденствия», слыл вольнодумцем. Перед отправкой Сергея Петровича на каторгу Александр опустился перед ссыльным братом на колени.

Таким образом, в моей и Мусиной родословной, тесно связанных друг с другом, были и венценосные деспоты, и те, которые боролись против них за благо народа.

Александра Михайловна Вишневская с дочкой Еленой.

Родилась я в 1907 году, в Киеве, в собственном доме моего деда, на Большой Подвальной улице. Первые четыре года жила с родителями в Москве, на Сретенке, в Даевом переулке, о чем ничего не помню. Затем, в 1911 году, моя мать со мной и своей воспитанницей Наташей уехала от моего отца из Москвы в Киев. Об этом времени у меня начинают возникать отдельные картины на общем фоне ощущения себя.

Леночке Вишневской 4 года.

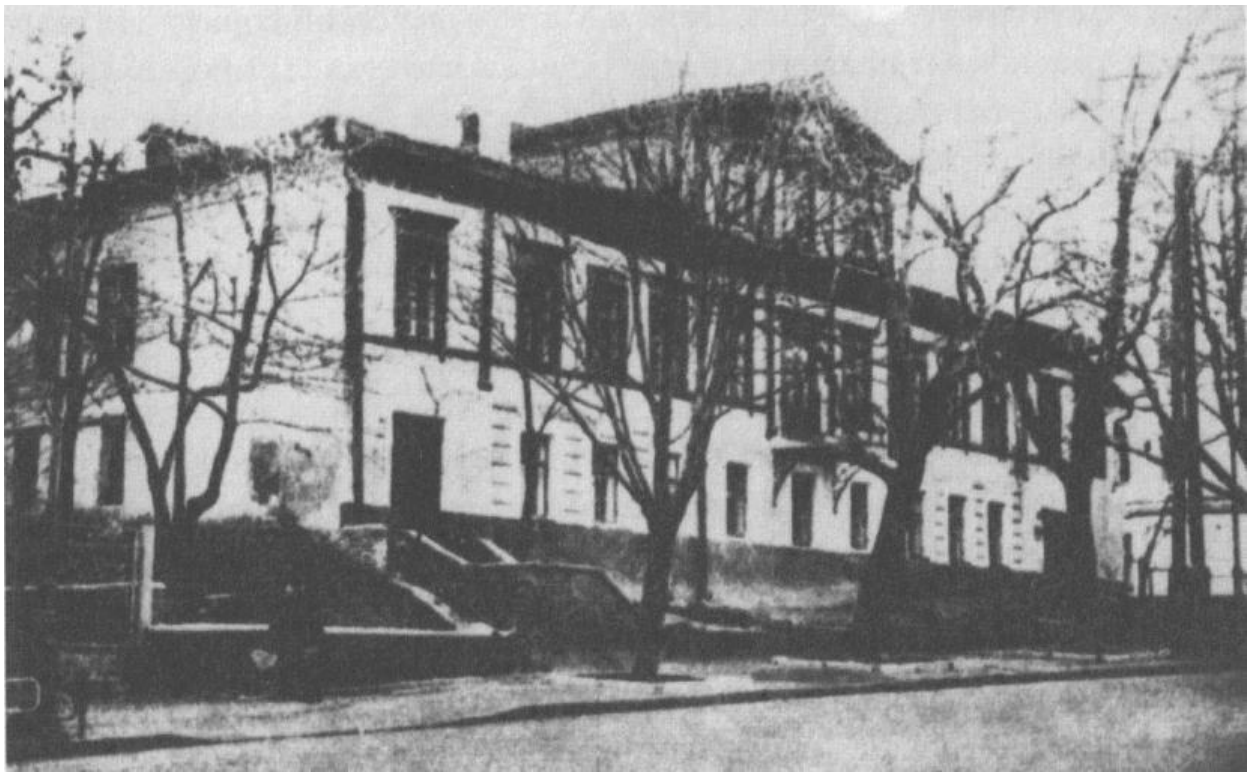
Принято говорить «счастливое детство», как понятие само собой разумеющееся, однако это верно только с позиции взрослого человека, а на самом деле далеко

не так. Как только я мысленно ухожу в далекое прошлое, во мне возникает некое томление, чувство беззащитности, опасности, страха. По-видимому, это было основное самочувствие того существа, которое в дальнейшем стало мною. Знаю, что счастье тогда было только рядом с матерью, когда я прижималась к ней, дышала ею, а без нее только страх.

Мы поселились в доме Трубецких по Владимирской улице, № 1, напротив Десятинной церкви. К дому примыкал сад, густо заросший кустами сирени. В настоящее время вместо сада высится современное серое здание школы, не существует и Десятинной церкви, ее снесли. Говорят, что не представляла архитектурной ценности. Но наш дом остался, только теперь он значится под № 3 и будет сохранен как какой-то, кажется, археологический музей. Сперва хотели музей декабристов, но его, кажется, перенесли в г. Сумы. В этом доме в 1825 году часто собирались декабристы. Как свидетельствуют архивные материалы, именно в этом доме происходили встречи, велись переговоры Сергея Петровича Трубецкого с С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым и другими. Декабристы готовились выступать против самодержавия, провозглашая идею республиканской конституции в России. На квартире Трубецких в 1825 году бывал и великий русский поэт А. С. Грибоедов.

По возвращении из ссылки в 1858–1859 годах в этом доме жил у своих племянниц Сергей Петрович Трубецкой, затем он переехал в Каменку, к дочери Лизе Давыдовой, а в доме продолжали жить последующие поколения этого рода. Большую квартиру занимала старая княгиня Трубецкая – жена

Александра Петровича (Луиза Росташевская) – прабабушка моей Муси, со штатом польской прислуги, целым полчищем дворовых девок, приживалок: «Феоной малой» и «Феоной большой», которые ходили в Иерусалим, на поклонение «Гробу Господнему» и привозили оттуда пузырьки с «тьмой египетской» и «святую воду» из Иордана, по вечерам чесали княгине пятки и сплетничали друг на друга. Были и «Машка Клистирница», и экономка по фамилии Нэйжмак – закоренелая старая дева, которой мальчишки Трубецкие (внуки старой княгини) совали в постель чучело мужчины, после чего эта экономка окуривала свою каморку и кропила ее «святой водой». Там же жила и бабушка Лиза (жена сына старой княгини) со своим мужем – Петром Александровичем и восемью детьми. В этом же доме родилась и моя двоюродная сестра Муся в 1897 году и потом с няньками и мамками надолго осталась у бабушки Лизы, как первое дитя ее любимого сына Володи.



Дом Трубецких в Киеве, где до революции проживали Александра и Елена Вишневские.

По рассказам Муси, усадьба в то время была огромной. Это было целое поместье с большим фруктовым садом, огородом, хлевами, конюшнями, каретником, флигелем и отдельным садиком для каких-то бедных родственников, в конце обширного двора. С течением времени земельный участок усадьбы был сильно урезан, дом бабушка Лиза продала миллионерше Ханенко из семьи сахарозаводчиков Терещенко, а сама переехала в Петербург, чтобы отдать сыновей, Сережу, Петю и Митю, в пажеский корпус. Но квартира их трех комнат на первом этаже осталась навсегда за сыном Владимиром, наотрез отказавшимся от военной карьеры и поступившим в университет, также сохранилось и название «Усадьба (или дом) Трубецких». Название, главным образом, сохранилось среди археологов, т. к. это место историческое, предполагается, что здесь в Древней Руси был расположен дворец Владимира Святого и Ярослава Мудрого.

В наши дни, подготавливая дом Трубецких к реставрации, сняли полы в бывшей квартире дяди Володи, и под ними был обнаружен культурный слой X века с остатками какой-то загадочной постройки, имеющей форму шестилистника Предполагается, что найден фундамент древнего киевского капища – языческого святилища, где стояли шесть «летописных» богов-идолов, о чем значилось у Нестора Летописца Предположение подтвердилось при находке глубокого зольника, ямы, наполненной костями козлов и быков, которых древние язычники

приносили в жертву громовержцу Перуну, Дажбогу, Стрибогу, Хорсу и другим богам. Далее был найден слой XI–XII веков, где обнаружили большую печь. По-видимому, после принятия христианства, по повелению князя Владимира, языческое капище и идолов уничтожили, и на том месте со временем возникли хозяйственные постройки. Тут, очевидно, варили пищу для двора князя. Найдены были и остатки большой восьмиугольной ротонды. Есть предположение, что она служила залом для приема иностранных послов и для праздничных банкетов князя Владимира.

Цікаві знахідки

ЗАГАДКА ДОМУ ТРУБЕЦЬКИХ

«ВЕЧЕРНИЙ КИЕВ» — орган Киевского городского комитета Коммунистической партии Украины и Киевского городского Совета депутатов трудящихся, гор. Киев.

НАША АДРЕСА 252003. Київ-3, вул. Свердлова, 19.

ТЕЛЕФОНИ приймальна редактора — 29-41-41; відділів: інформації — 29-40-31; 29-40-61; листів і масової роботи — 29-37-18; громадська приймальня — 29-72-22; відділу об'яв — 25-42-09; інформаційно-рекламного додатка — 25-33-07; бухгалтерії — 24-70-83.

18/X 75р.

Эти сведения я получила, прочитав заметку С. Плачинды в газете «Вечерний Киев» от 18 октября 1975 года. Все это чрезвычайно интересно, и мне отрадно знать, что дом, в котором началась моя сознательная жизнь, взят под охрану государства. Удивительные преподносит история новости, сочетания, контрасты. Подумать только, что на этом месте, возможно, жил в своем дворце великий князь Владимир Святой, а через 600–700 долгих лет здесь же в XIX веке был построен

дом, в котором я застала еще моего дядю, тоже князя, тоже Владимира, но не Великого, не святого, а милого, скромного человека, большого труженика, умевшего и любившего многое делать своими руками. После окончания университета в Киеве в селе Гавронщина, в своем имении, он оборудовал поликлинику и ежедневно бесплатно принимал больных крестьян. В советское время, когда Владимир Петрович Трубецкой работал врачом киевской клиники Красного Креста, к нему постоянно приезжали пациенты, которые в регистратуре говорили: «Запишите к князю…»

Мы застали этот старый дом Трубецких в плохом состоянии, населенным посторонними людьми (кроме квартиры дяди Володи), нам был предоставлен деревянный мезонин из трех комнат, спальня которого выходила окнами во двор, столовая и гостиная смотрели на Десятинную церковь. Наш вход был со двора, откуда прямо с небольшого крытого крыльца шла покатая деревянная лестница, внутри дома, до самого мезонина. Она казалась непомерно высокой, и я не раз катилась с нее кубарем, не умея преодолеть ее крутизну. Заканчивалась она наверху довольно большой площадкой с громадным плюшевым диваном, она шла вдоль застекленной стены, выходящей на крышу второго этажа. Сюда в один из летних дней залетела чужая, заблудившаяся канарейка и прожила у нас благополучно и довольно долго.

Кухня была со стеклянным фонарем в потолке, через кухню можно было попасть на полутемный, таинственный чердак, где однажды я обнаружила целую кучу очаровательных котят. Во дворе на месте бывшего

флигеля был в то время домик дворника Устина. С его двумя дочерьми, Нюсей и Надей, я была в большой дружбе, от них пахло деревней, т. к. их семья держала корову, петухов и кур, словом, хозяйски воспользовалась сараями и каретниками старой княгини.

Я отчетливо помню все заманчивые уголки двора и чудесного сада. В памяти сохранились звуки и запахи этой усадьбы. Целыми днями я самозабвенно играла летом в «принцессы и разбойники» со своими сверстниками, катала большой обруч, подбрасывала мяч. Сад утопал в цветущей сирени, мне кажется, что в моем детстве она была особенно свежей и пышной, не такой, как потом.

Елене 7 лет.

Киев того времени был очень уютный, не слишком оживленный город. Зимы были мягкие, какие-то душистые от обильного снега, высокими сугробами лежащего вдоль тротуаров. Весна наступала стремительно. Мимо нашего дома мчались водопады талого снега, круто сворачивая по Андреевскому спуску на Подол. Няня выставляла первые рамы окон,

квартира наполнялась солнцем, чириканьем воробьев, бодрым цоканьем подков лошадей, редкими звонками далеких трамваев. На согретый весенним солнцем широкий карниз под окнами ставили горшки с геранью, яркие цветы, которые оживали на свежем воздухе. За несколько дней сады покрывались стойкой зеленью, Наташа привозила из Святошино первые лесные желто-лиловые мелкие «анютины глазки», от которых радостно и тревожно замирало сердце. Высунувшись из окна, можно было увидеть и знаменитую Андреевскую церковь – она замыкала нашу улицу, красуясь на холме в окружении высоких лестниц.

В праздники наш дом как бы тонул в мощном звоне колоколов двух церквей, а торжественные шествия крестного хода, золото хоругвей и облачений священников, блеск икон, песнопения хора – все это поражало детское воображение и казалось сказочно-прекрасным. Особенно волновала заутреня. Мать будила меня, закутывала в одеяло, и я прилипала к окну столовой. Налюбовавшись крестным ходом, я находила возле печки на моем игрушечном столе маленькие куличи, сырные пасхи и цветные драже, вместо крашенок. А большой стол был заставлен праздничной снедью, начиная с традиционного окорока, украшенного бумажным «султаном», и кончая домашними пирогами, мазурками и всевозможными печеньями. Наша кухарка Пелагея была большая мастерица. Высокими башнями возвышались сдобные куличи, пестрели пирамиды крашенок, холодная телятина соперничала с жареной индейкой и поросенком под хреном, среди всех этих теснящихся блюд стояли горшки голубых и розовых гиацинтов. Их

тонкий аромат наполнял столовую, смешиваясь с запахами ванили, жареного мяса и разных маринадов.

Пасха – любимый, радостный праздник. Целую неделю не будет обычных обедов, не надо есть ненавистные супы. Я выйду на улицу в праздничном наряде: белое суконное платье, ожерелье из разноцветных брелоков в форме маленьких яичек, белые носки, лайковые туфли с помпонами, большой бант в распущенных волосах. Какой кажусь я себе нарядной, как торжественно и радостно на душе!

Я не помню, чтобы моя мать молилась. По-видимому, она не была религиозным человеком, но иконы у нас висели в столовой и в спальне, да и церковь она посещала, водила туда и меня. Я проходила процедуры причастия, исповедовалась, выстаивала длинные службы. В церкви было душно, томительно, хотелось на воздух, домой. Единственное, что нравилось в страстной четверг и в вербную субботу – это донести огонек свечи до дома, чтобы он не погас в пути, а потом над дверями этой свечкой коптили крест, таков обычай. Посещения церкви настолько мне не нравились, что я категорически от них отказалась. По-видимому, мама не настаивала, и больше я не подвергалась этим мученьям. Зимой (кажется, в сочельник) дома обычно ели кутью вечером, она была из вареных пшеничных зерен, и запивать полагалось маковым, сладким молоком, ну а на Рождество и Новый год были сплошные праздничные елки, то дома, то в гостях, хлопушки, бенгальские огни, подарки, много сладостей, шума и веселой суеты.

Я очень любила приготовления к Рождеству. Мама покупала карамель в форме ягод, к ним тонкую

зеленую проволоку и листики из коленкора, покрытые воском. Какие очаровательные веточки смородины, малины, гроздья винограда и других ягод мы делали с Наташей! Процесс изготовления этих изделий был прост: конец проволоки накалялся на свечке и легко входил в карамельку. Собрав несколько таких веточек, мы скручивали их вместе, прикрепляли соответствующие к ним листики, и получалось изящное и вкусное добавление к украшению елки. Елка была всегда в потолок, очень нарядная от множества шаров, бус, цепей, звезд, «дождика», флажков и специальных игрушек очень тонкой работы. Это были настоящие произведения искусства, которые в поздние годы я уже не встречала. Есть особое очарование живых огоньков, разноцветных свечек на елке, и, несмотря на то, что они зачастую являлись причиной сокрушительных пожаров, мы так и не заменили их гирляндами электрических лампочек. Электричество в нашем доме появилось с большим опозданием, только в декабре 1916 года как раз во время нехватки керосина, Сабина и Пелагея, стояли в очереди с 7 часов утра и получили по четыре фунта на душу. Оно было воспринято мною как чудо. Помню, я по несколько раз то включала, то выключала его, радуясь и удивляясь, как мгновенно освещаются комнаты. Поначалу никаких люстр и абажуров не было. В каждой комнате из центра потолка свешивалась всего одна унылая лампочка, едва прикрытая маленьким, весьма примитивным стеклянным колпаком. Такие теперь сохранились разве что на лестницах старых домов или в коридорах коммунальных квартир, но даже подобное освещение приводило меня в восторг, да и в самом деле оно было ярче, чем наши старинные керосиновые лампы. С ним

менялась вся атмосфера вечеров нашей квартиры. Исчезали тревожные тени, таинственные черные углы, уходил наводящий тоску полумрак, перестала пугать мое воображение темная гостиная, через которую приходилось проходить вечером из столовой.

Церковные праздники в то время всеми соблюдались пунктуально, таков был стиль жизни дореволюционной России, и вносили оживление в нашу монотонную жизнь.

Кухарка Пелагея была религиозна до фанатизма. Она следовала всем церковным обрядам, точно знала даты праздников и была в этом смысле как календарь. Мама мало вмешивалась в хозяйство и почти не руководила действиями Пелагеи. Вернее считать, что Пелагея руководила нашим питанием. Это она составляла меню наших обедов, самостоятельно закупала продукты, варила, жарила, пекла. Целыми днями из кухни был слышен энергичный стук ножей. Готовила она искусно, знала множество рецептов, была инициативной, талантливой поварихой. Не создав своей семьи, очень некрасивая, угловатая, она самозабвенно была предана нам, жила нашими радостями и печалями, стояла на страже наших интересов. В марте она пекла «жаворонки» – витые булочки, похожие на птиц, с изюминками вместо глаз. На Пасху – громадные куличи, торты, печенья, мазурки. Летом на Троицу полы квартиры неизменно покрывались длинными стеблями пахучего аира и молодыми ветками березы. Зимой в положенное время соблюдала пост, когда на обед подавался борщ с маслинами, заправленный растительным маслом, разные овощи, картофельные котлеты с грибами, различные каши, запеканки, кисели.

Кроме церковных праздников были и другие. Это когда из домов вывешивались трехцветные флаги, а вечерами вдоль улиц зажигались цветные фонарики. Нянька Лукия называла эти праздники – «царскими». Царь представлялся мне добрым стариком, с длинной белой бородой, как Дед-Мороз, только с короной на голове и весь в золоте.

Однажды, гуляя с няней, мы дошли до угла нашей Владимирской и у аптеки остановились. Дальше путь преграждали цепи городовых и толпы людей. Все головы были повернуты в одном направлении, кого-то ждали. Няня подняла меня на руки, и я увидела, как со стороны Сенной площади появились офицеры на конях, и среди них медленно двигался открытый автомобиль, в котором спиной к движению, стоял, отдавая честь, небольшого роста, невзрачный человек, в военной форме. Это и был царь Николай II.

Росла я без сестер и братьев. Часто оставалась совсем одна Вечерами почти всегда мать уходила к «Вишневским» – так она называла дом своего свекра. Там пропадала и Наташа. Бывало, Лукия уложит меня спать, пригасит керосиновую лампу на комоде и тоже уйдет из дома. Я лежу в полутьме, смотрю, как; долго гаснет пламя лампы, как теплится огонек лампадки под образами, освещая суровые, темные лики Христа и Богородицы. В квартире тишина, только из кухни доносится монотонное гудение: Пелагея читает по складам Евангелие. В окна бьется метель, мне жутко, одиноко, хочется плакать.

Вспоминая годы своего раннего детства, не могу отделаться от ощущения тоски, тревоги, уныния. Это было время тяжелых переживаний для моей матери:

отец просил развода. Атмосфера в доме была гнетущая, что отражалось, по-видимому, и на мне, хоть я решительно ничего не знала о происходящем. Во мне зарождались разные страхи. Боялась темных комнат, чужих людей, иллюстраций к однотомнику сочинений Гоголя, картинок с изображением воздушного шара, робела перед старшими, а мысль, что скоро меня отдадут в детский сад, приводила меня в ужас. Иногда эти страхи выливались в нервные припадки, я с криком просыпалась среди ночи, билась в маминых руках, как потом она мне рассказывала, куда-то рвалась, обливаясь слезами, умоляла меня спасти.

Зимой я часто простуживалась, болела бронхитами. По-видимому, меня одевали слишком тепло, да и в квартире от голландских печек была жара. Ни о какой гимнастике никто и не думал в нашей семье. Я не знала ни коньков, ни лыж, не умела плавать, никогда не садилась на велосипед.

Александра Михайловна с дочкой Леной, няней и Колей Пироговым в Фарбоване.

Мама была застенчивая, тихая женщина с кротким характером. Воспитывала меня спокойно, любовно, но была строга. Я была послушной, правдивой, но тоже застенчивой и, как мне сейчас кажется, с какими-то замедленными реакциями. Помню, что совсем не была шаловливой, как бывают шаловливы нормальные дети. Меня пугали дурашливые шалости других детей, я не находила в них ничего для себя веселого и очень часто от этого мучилась в детском саду. Тепличное домашнее воспитание задерживало мое духовное и физическое развитие. Я росла робкой, молчаливой девочкой.

Весь уклад жизни того времени был пронизан смирением, почитанием, зависимостью от более

сильных, от более богатых, от старших. На всем была печать чинопочитания, субординации. В обществе отсутствовало равенство, также не было его и в семьях. Особенно сказывалось это в буржуазных, богатых и дворянских семьях.

Мой дед – Гавриил Иванович (отец моего отца) был сановником, предводителем дворянства Киевской губернии и камергером двора его императорского величества, крупным помещиком.

Елена Вишневская – крайняя справа.

Мама жила и воспитывалась в его доме, так же как и Наташа, потому что обе они новорожденными были подброшены в этот богатый дом. Считалось, что моя мать являлась внебрачной дочерью брата моего деда – Владимира Ивановича, чудаковатого, крикливого полковника царской армии. Помню его какие-то резкие

шутки, громкий хохот. Я побаивалась его и, разумеется, не знала, что он отец моей матери. Когда кто-то задал ему вопрос, почему же маму подбросили не ему, а его брату, то он ответил: «Пускай мой брат не будет богаче всех!» В этом ответе есть что-то омерзительное.

Дедушка Гавриил в своем дневнике охарактеризовал Владимира Ивановича довольно добродушно: «Младший мой брат – Владимир представлял из себя большого оригинала. Он был неунывающий россиянин, несмотря на бурную, неугомонную юность, всевозможные служебные неудачи и амурные похождения. Не злой, но взбалмошный и азартный, он как ветеран Ахтырского гусарского полка пользовался среди товарищей и солдат авторитетом и престижем. Очень любил солдатские и народные песни и прибаутки, был необыкновенно ловким танцором казачка и трепака. Долго командовал лихим эскадроном полка и в последнюю турецкую войну награжден был золотым оружием. Дослужившись до чина полковника, заболел и впоследствии умер, обобранный своей сожительницей, которая много лет водила его за нос и обманывала». Таков был отец моей матери.

А кто была ее мать, точно неизвестно, но предполагалось – портниха, польской национальности. Отчество и фамилию маме дали по имени ее крестного отца – Михаила Тарковского. Так и числилась она, Александрой Михайловной Михайловой. Наташа же, попавшая в дом деда на десять лет позже моей матери, как будто была дочерью француженки – гувернантки, по фамилии Де Гусар, а отцом предполагался один из офицеров, постоянно бывавший у Вишневских,

любимец прабабушки моей Аделаиды Дмитриевны, некий Куликовский. Наташу крестил Сергей Трубецкой, потому она стала Сергеевной, по фамилии Сергеева.

Отцы и матери не признавали своих детей и не несли за них никакой ответственности. Это мой дед полностью содержал их, да и не только их, но еще и других всевозможных родственников.

Странная была эта семья.

Я не скоро узнала, что мой отец и тетя Марина были тоже внебрачными детьми моего деда, которых потом он официально оформил как своих детей.

Дело в том, что законная супруга моего деда – бабушка Настя (Анастасия Ивановна Лукашевич) панически боялась беременности, была неспособна к деторождению и вообще была какой-то странной женщиной. Днем она спала, по ночам бодрствовала, просила, чтобы ей читали по ночам книжки, развлекали, была рада визитам родственников в ночные часы. Дед, как я понимаю, относился к ней только чисто платонически, что ее вполне устраивало. В дневнике своем он пишет, что обожал, боготворил ее, но, по-видимому, этим и ограничивалась их совместная жизнь, на фоне которой дед безудержно влюблялся и сближался с другими женщинами.

А вот бабушка Юля (Юлия Всеволодовна Пичугина) была фактически женой, матерью его детей, т. е. моего отца и матери, и до самой смерти деда его преданной подругой. После смерти бабушки Насти (та умерла до моего рождения) дед имел возможность оформить брак с бабушкой Юлей, но почему-то не сделал этого. Может быть, было сложно из-за родственных их отношений, а может быть, они уже были настолько во

власти привычки к созданной ими же условности, что были не в силах нарушить ее.

Так до конца жизни бабушку Юлю вся прислуга называла «барышня Юлия Всеволодовна», и о том, что мой отец и тетка являлись ее детьми, говорилось только под большим секретом, шепотом. Мало того, несмотря на то, что отец и тетя по документам числились детьми деда, они называли его не отцом, а «дядей», к тому же тетя носила отчество «Николаевна», по имени крестного, хотя по документам значилась Гавриловной.

Зачем и кому была нужна эта дурацкая конспирация, эта унизительная неразбериха – неизвестно. По-видимому, неписаные законы высшего света требовали сохранять в тайне отклонения от добродетельного образа жизни, а отклонений этих в дворянских семьях было предостаточно.

Возможно, дед по наследству получил слишком «горячую кровь», сказывались всесильные «гены» его предка – Степана Ивановича Вишневского, о котором Н. С. Лесков писал; «Степан Иванович был атлет и богатырь, а при том так; же хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование».

Лена Вишневская с Наташей Сергеевой.

Мария Ивановна Вишневская (сестра Гавриила) с племянником Иваном и его первой женой Александрой. Любопытная деталь: судя по подписи, фото сделано Михаилом Тарковским, крестным отцом Александры Михайловны, от кого она, подкидыш, и получила свои отчество и девичью фамилию – Михайлова.

Дедушка был образованным человеком, учился в университете на юридическом факультете, в совершенстве владел немецким и французским языками, хорошо знал литературу, был общительным, хлебосольным, любящим общество человеком. Жил он широко, держал большой штат прислуги, много всевозможных родственников кормилось у его стола. После расторжения брака моих родителей дед содержал нас, оплачивал для меня француженку и преподавательницу музыки, а отцу ежемесячно высылал в Москву 100 рублей (по тому времени, это были большие деньги), так же систематически он поддерживал материально своих братьев и всевозможных родственников.

Мама, я и Наташа состояли на его иждивении до самой революции. Эта зависимость от деда им самим никогда не подчеркивалась, но все же нами ощущалась и порождала ту робость и скованность в общении с ним, которая так сильно сказывалась на мамином характере и долго давала о себе знать даже в моей дальнейшей жизни.

Каждое воскресенье мы ездили на целый день к «Вишневским». Дед и три бабушки – Юля, Маша и Лиза – занимали бельэтаж дома на Фундуклеевской улице (ныне улица Ленина) напротив Оперного театра

Обширная квартира из двенадцати комнат была обставлена в старинном стиле. В громадной гостиной стояли мраморные скульптуры, в центре – стол зеленого малахита, вокруг него два дивана и кресла модной – в то время плюшевой мебели цвета бордо. Шелковая ширма с китайской вышивкой отделяла от входа угол с ломберными столами, за которыми бабушки с гостями и дедом без устали играли в покер и бридж. Между окнами и у противоположной стены были высокие трюмо, картины в золоченых рамах, бронзовые бра и подсвечники, у дальней стены помещался гарнитур с занятным большим полукруглым диваном в форме «рогалика», здесь тоже был уютный уголок с полированным столом красного дерева, на котором я любила рисовать. Был там и рояль, покрытый шелковой китайской шалью. Я не помню, чтобы на нем когда-нибудь кто-нибудь играл.

В столовой всю стену занимал буфет темного дерева с выпуклыми резными изображениями всевозможной дичи и фруктов, на нем тяжелый пресс, под который закладывались измятые салфетки. Кроме громадного обеденного стола, за которым свободно могли разместиться более тридцати человек, в стороне был дополнительный небольшой стол для детей, а также два мраморных. На темных коричневых обоях столовой, с рисунком крупных желтых цветов подсолнуха, висели красивые декоративные саксонские тарелки, под ними каким-то нелепым контрастом виднелась шеренга из двенадцати штук от руки рисованных открыток в одинаковых рамках, изображающих любовную историю деревенской пары в лаптях. О чем гласил стихотворный текст с таким началом:

Ванька парень был пригожий, А Матрена была баба – Ой-ой-ой-ой!!!

Удивительно, как дед с его вкусом и культурой терпел подобную пошлость, кому из семьи мог нравиться псевдонародный юмор?! Должно быть, это был подарок деду. Знаю, что тетя Маруня немного рисовала и выжигала по дереву. В столовой зимой потрескивали дрова в камине, перед которым стоял экран с гобеленом старинной работы. Летом была открыта дверь на балкон, где стояли плетеные кресла и горшки с растениями. Горшки были вставлены в прекрасные фарфоровые кашпо с выпуклыми цветами и фигурками купидонов.

Так мечталось мне тихонько отбить какую-нибудь фигурку и унести домой!

Балкон смотрел в сад с цветущими каштановыми деревьями и клумбами роз. От палящих лучей солнца балкон спасали полотняные, тяжелые занавеси в розовую полоску, они же надежно отгораживали эту богатую, сытую, праздную семью от случайных встреч с нищими, шарманщиками или обитателями сырого подвала.

Я иногда заглядывала с балкона в широкую, длинную скважину, идущую вдоль дома. Там, в ее глубине тоже шла жизнь, так непохожая на жизнь верхних этажей. Дно этой скважины представляло из себя коридор, с одной стороны которого были дровяные сараи, а с другой виднелись двери и окна подвала. На веревках

висело для просушки белье, слышалась иной раз негромкая перебранка, плач детворы. По-видимому, обездоленным обитателям подвала под страхом выселения запрещалось шуметь, они незаметно и скромно существовали, лишенные солнца, тепла и минимальных удобств. Длинная деревянная лестница спускалась со двора в эту глубокую щель, как в мрачный каземат. Долго туда смотреть мне не хотелось. Делалось как-то не по себе.

Таким образом, уже в раннем детстве, я ощущала противоречия жизни, понимала, кто богат, кто беден, кто счастлив, кто страдает.

По-видимому, мой дед был щедрым, добрым человеком, но я не знала ни от него, ни от бабушек простой теплой ласки. Все они были светские люди. Приветливые, любезные, но весьма сдержанные и холодные.

Здороваясь с ними, я делала книксен и целовала руку дедушки и бабушек, а они прикасались губами к моему лбу. В редких случаях дед легонько трогал меня за подбородок и спрашивал: «Голубчик, ну как ты ведешь себя? Маму слушаешься?»

За столом я сидела чинно, говорить детям запрещалось. Обедали в семь часов вечера, завтрак был в час дня. Разносил кушанья лакей Леонтий, в ливрее и белых перчатках, в дверях столовой стоял дворецкий – Василий Ильич Зимин. Ели вкусно и много, долго сидели за столом. На столе был всегда клюквенный квас домашнего приготовления в высоких стеклянных кувшинах. Обед заканчивался кофе, для взрослых «по-турецки», в цветных крошечных чашечках, который чаще всего пили вприкуску. В

разговорах за столом часто переходили на французский язык, которым дед и бабушки владели в совершенстве. Атмосфера этого дома была официальной и холодной.

Гавриил Иванович Вишневский

Я была там тиха и робка, как мышь. Меня подавляла пышность обстановки и сковывало почтение к старикам. Однако приезжать туда мне было интересно, уж очень весь стиль жизни этого дома был не похож на нашу простую, довольно скромную жизнь. По тому времени мы жили, конечно, скромно, но с точки зрения современности весьма обеспеченно. Мама была молода, полна сил, но решительно ничего не делала. Нас троих обслуживала кухарка и моя няня. В настоящее время разве что семья какого-нибудь крупного академика может иметь такие условия. В то время недопустимо было, чтобы интеллигентная женщина стирала белье, чистила картошку, покупала продукты, готовила еду. Вся классическая литература подтверждает это.

Дед просыпался намного раньше бабушек и завтракал всегда в одиночестве, в десять часов утра. Ему подавали чашку кофе с молоком, гренки и два яйца всмятку. Через три часа он присоединялся к общему обильному завтраку, незадолго до которого появлялись из своих комнат бабушки: Лиза (Елизавета Ивановна Трубецкая) – любимая кузина деда, дородная, красивая, стареющая женщина, обычно в бархатном, сиреневого или вишневого цвета роскошном халате с кружевами и бантами. Юля (Юлия Всеволодовна Пичугина) – фактически жена деда, в юбке и кофте навыпуск, рано растолстевшая, пухлая, фигурой похожая на просвору, и Маша (Мария Ивановна Прибыльская) – родная сестра деда, стройная, высокая, подвижная, всегда в черном, очень религиозная и строгая – она была «совестью семьи». Уж не знаю, как

она мирилась с легкомысленными похождениями своего брата.

В то время я заболела корью, и, чтобы не заразить маму и Наташу, меня перевезли на время к «Вишневским», где было просторнее и удобнее, чем дома. В квартире деда жила и моя двоюродная сестра – Муся (Мария Владимировна Трубецкая). Она на десять лет была старше меня и являлась любимой, первой внучкой дедушки. Ее мать – моя тетка, отдала ее с детства на воспитание бабушкам, а затем Муся, окончив в Петербурге Екатерининский институт благородных девиц, вернулась к старикам и постоянно жила в этой квартире, занимая комнату рядом со столовой. Муся была красоткой, с русыми волосами и томным взглядом. Я была влюблена в нее. Помню, как она стояла в гостиной перед трюмо в сказочно красивом розовом воздушном платье и прикалывала к плечу букет искусственных роз. Бабушки и дед баловали ее как могли. Меня восхищала та свобода, так недостававшая мне, с какой она вела себя в доме.

Любимая внучка Гавриила Ивановича – Муся Трубецкая.

N. Guzemsky
KIEFF.

Муся с дедом Гавриилом Ивановичем.

Как-то на Пасху, мы проходили с ней через столовую, в центре стола среди разных кушаний был высокий кулич, увенчанный искусно сделанной фигурой ангела из марципана. Я остановилась как зачарованная, любуясь им. Муся спросила: «Тебе нравится?» – и, не раздумывая, сняла с кулича и подала мне. Я обомлела от ее смелости. Муся дружила с Наташей, они очень любили друг друга. Наташа была поэтической натурой, мечтательной, очень впечатлительной, живая, небольшого роста, изящная, она хорошо сочеталась с апатичной, уравновешенной Мусей.

С Мусей я виделась редко, Наташа же постоянно жила с нами и принимала деятельное участие в моем воспитании. Это благодаря ей, ее настойчивости и терпению, я смогла перейти из частной гимназии Жеребцовой в гимназию Жекулиной с более трудной, мужской программой обучения. Для этого за два летних месяца в Фарбовано Наташа помогла мне овладеть немецким языком и математикой в нужном объеме. И как часто бывает в жизни, я мало ценила Наташу, часто с нею ссорилась, противилась ее требовательности, Муся же была ко мне равнодушна, не оказывала мне никакого внимания и потому казалась мне милее. Только впоследствии я поняла, какое доброе сердце у Наташи, как творчески она относится к людям. Детство у нее было тяжелое, она очень тяготилась своим положением в доме Вишневских. Об этом я узнала только в последние годы, со слов Муси. После смерти прабабушки, Аделаиды Дмитриевны, и бабушки Насти, которые

любили ее, ее положение в доме резко ухудшилось, т. к. и дедушка, и бабушка Юля с полным безразличием относились к ней. Прислуга, среди которой она росла, третировала ее. Ей постоянно давали чувствовать, что она существо низшего сорта и не ровня членам семьи. По причине своей безродности Наташа ненавидела свою девичью фамилию и хотела как можно скорее выйти замуж, лишь бы не быть Сергеевой. По этой же причине она вышла замуж за человека, который по ночам очень ей не нравился. Она долго колебалась и даже после свадьбы жила отдельно от него вместе с Мусей, т. к. никак не могла заставить себя стать его женой.

Постепенно все обошлось. Георгий Федотович, ее муж, своей преданностью и любовью приучил ее к себе, и она привязалась к нему. Как-то Наташа сказала Мусе, что она чувствует себя виноватой перед ним, т. к. не могла ответить ему тем же чувством, какое он дарил ей. Горя был прекрасным мужем, хорошим семьянином – отцом своих детей. Наташа была с ним очень счастлива. Горя умер через год после смерти Наташи, не в силах преодолеть своей тоски по ней.

Судьба Муси сложилась благополучно. Ее руки домогались до революции многочисленные титулованные женихи, впоследствии эмигрировавшие за границу. Она же вышла замуж, по определению деда, «за человека новой формации». Это был Макс Исаевич Гельман – скульптор из Одессы, с которым у Муси были общие творческие интересы и счастливая жизнь. Мать Макса упрекала его за эту женитьбу, наивно восклицая: «В-о-о-от, захотел стать князем!» Действительно, только революция позволила одесскому еврею породниться с бывшими князьями.

Муся полностью окунулась в новую жизнь. Окончив Киевский художественный институт, начала работать как художник-монументалист по оформлению революционных праздников. В числе товарищей своей творческой бригады украшала Харьковское здание театра к предстоящему 6-му Всеукраинскому съезду Советов, а позднее в Москве оформляла павильон УССР на 1-й Всероссийской с/х выставке. В каталогах художественных выставок довоенных лет часто встречалось имя Марии Владимировны Трубецкой. Она автор многих плакатов, иллюстраций к произведениям литературы. Она участница Первой Всеукраинской юбилейной художественной выставки «10 лет Октября», которая явилась началом украинской советской живописи. Во время Великой Отечественной войны, будучи в Самарканде, она работала в изоагитмастерской. В год 150-летия восстания декабристов много дала сведений о роде Трубецких, являясь правнучкой брата декабриста Сергея Петровича Трубецкого. До конца своих дней Муся интересовалась всеми событиями жизни и активно участвовала в ней своим творчеством. Умерла ранней весной 1976 года В конце 1979 года умер и ее муж – скульптор Макс Исаевич Гельман.

В детстве нравится все необычное, таинственное. Так, меня притягивала дополнительная дверь в Мусину комнату. Она находилась в прихожей дедушкиной квартиры, за высокими вешалками. Ею пользовались многочисленные Мусины подружки и кавалеры. Я не смела этого делать, но любила проскользнуть за вешалки и постоять в темноте за этой дверью, фантазируя, что я владею какой-то тайной. Нравилось мне забегать и на кухню, которая помещалась

отдельно, в специальной пристройке. Там приветливо встречали меня повар, стряпухи и судомойки. Я грызла сырую морковь, с интересом наблюдала чудеса приготовления пищи и чувствовала себя здесь более свободной и смелой, чем в торжественных комнатах квартиры.

Из области таинственного мне интересно было идти по длинному темному коридору дедушкиной квартиры, открывать небольшую дверь в его конце и входить в комнату бабушки Маши. Там, вдоль длинного шкафа, загораживающего свет окон, находилась ее кровать. В изголовье стоял киот с множеством темных икон. Горела лампадка. Было тихо и страшновато. В раннем детстве, полная отваги, я взобралась на эту кровать, высыпала все бабушкины лекарства и чуть не наелась ими.

В светлой части этой комнаты находилась чья-то вторая кровать, а между окнами был туалет с зеркалом. Однажды я увидела на нем в хрустальной вазочке целую кучу крошечных двойных булавок, да не простых, а каждая с цветным камушком. Тут пришел конец моему покою! Несколько раз я проникала туда, все любовалась этими булавочками и с каждым разом все сильнее и сильнее хотела иметь одну из них. Ну что было попросить бабушку! Конечно, она подарила бы мне, да и не одну, ведь это были такие пустяки. Но просить я не решилась. Наконец, холодея от ужаса, я схватила булавку, зажала в кулаке и кинулась через коридор к вешалке. Там моя новая няня – полька Сабина – повесила наши пальто. Помня, что один из моих карманов прохудился, я сунула булавку в другой. Вечером, собираясь домой, Сабина сняла мое пальто, и вдруг я услышала, как что-то слабо звякнуло об пол.

Сердце мое учащенно забилось. «Какая хорошенькая булавочка! – воскликнула Сабина – Это твоя?» «Нет, нет!» – с отчаянием ответила я. «Не твоя? Так я возьму ее себе!» – сказала Сабина. Я была ошеломлена, убита наповал. Но этим не закончились мои переживания. Как я мучилась несколько дней! Ложась спать, долго не могла заснуть, мне было стыдно, томило раскаяние за совершенное воровство. Я собиралась броситься перед бабушкой на колени и просить у нее прощения. Я плакала в подушку, была в отчаянии. Этот эпизод глубоко врезался в мою память.

Интересен он для меня тем, что характеризует уровень воспитания того времени. Мне было тогда не более семи лет. Вспоминая дом дедушки, я сейчас ощущаю его таинственность и притязательность, а также возникают запахи свежих огурцов, салата, редиски, все той первой вкусной зелени, которая появлялась на столе деда задолго до того, как: мама поручала купить ее нашей Пелагее. Первые овощи стоили баснословно дорого.

Своего отца я совсем не помнила, и потому его как бы не существовало для меня, знала только, что он почему-то живет в Москве. Он напоминал о себе редкими почтовыми открытками и выписывал для меня журналы: «Проталинка» и «Задушевное слово». Открытки и журналы мне читали, но об отце я не думала. Однако время шло, и однажды на Пасху почтальон вручил мне громадное картонное яйцо, внутри которого при поворотах что-то ревело. Там оказался большой плюшевый медведь белого цвета. Таких больших и обаятельных я еще никогда не видела. Этот подарок произвел на меня очень сильное

впечатление. Я часто стала думать об отце, мне захотелось увидеть его.

И однажды настал этот необыкновенный день – день встречи с отцом. Мама сказала мне о том, что он приехал и остановился у деда. От волнения я оцепенела. Меня тщательно одевали няня и мать, потом повезли на Фундуклеевскую. Я была как во сне. Помню, прошла по темному коридору. В этой части квартиры все четыре комнаты, идущие цепочкой вдоль коридора, выходили своими окнами на высокую кирпичную стену издательства газеты «Киевская мысль» (впоследствии «Пролетарская мысль»). Стена эта не дальше полутора-двух метров отступала от наших окон, образуя узкий асфальтовый колодец, над ним можно было увидеть полоску далекого неба и иногда луч солнца, но постоянно эти комнаты, предназначенные для «приезжих», были в полумраке. Полдню, я повернула ручку последней двери, открыла ее и увидела… возле окна спиной ко мне стоял высокий мужчина и вытирал полотенцем лицо. Повернулся ко мне, взял на руки, поцеловал, а я его не видела, не смотрела на него, только чувствовала на своих щеках мокрое прикосновение его лица. Потом мы ездили с ним куда-то в гости, к какой-то нарядной даме, отец держал меня за руку, что-то говорил мне, я гордилась, что он такой большой, сильный, но… лица его не запомнила.

Лена Вишневская с белым мишкой.

Иван Гаврилович Вишневский.

И все, что осталось от этой встречи, – это какая-то смутная радость и ощущение мокрых щек. Больше я

его никогда не видела. Он умер в возрасте 36-ти лет в 1919 году. После операции язвы желудка поскользнулся зимой на улице, упал, швы разошлись, и он погиб от кровоизлияния и кровотечения. Отец мой был артистом Московского Малого театра и педагогом его театральной школы. Это был высокий, стройный мужчина, не по возрасту серьезный. Так он выглядел на многочисленных фотографиях. Красивое лицо умного, глубоко интеллигентного человека, с задумчивыми, даже несколько грустными глазами. Был ли он счастлив со своей второй женой – Ольгой Сергеевной Щербиновской? Неизвестно! Будучи его ученицей по школе Малого театра, она так влюбилась в него, что отважилась сблизиться с ним невзирая на то, что существовали мы – мама и я. Для того времени она вела себя агрессивно и достаточно рискованно, как я сейчас понимаю.

Так случилось, что мама со мной и Наташей, как обычно, уехала в то лето в Фарбовано. Отец оставался в Москве один, прислуживала ему наша Пелагея. Когда мы вернулись из деревни, Пелагея, заливаясь слезами, рассказала маме об измене отца, о том, как эта девица Ольга приходила к отцу заниматься актерским мастерством и оставалась у него ночевать. «Барыня моя дорогая, я, бывало, постелю этой окаянной девке у вас в спальне, а утром вижу – постель не смята, она, значит, к барину в кабинет бегала спать! Ой, горе, горе!!!» – причитала Пелагея.

Дворня помещиков Вишневских в Фарбоване.

И горе действительно произошло. Отец стал просить развода. Мама развода не давала, надеялась, что отец одумается. Целыми днями мама, запершись в спальне, плакала, но мы оставались в Киеве, а отец в Москве, ситуация не менялась, в результате мама уступила.

Полюбил ли отец настолько сильно, что посчитал необходимым жениться на этой предприимчивой девице, или это был долг мужской порядочности – неизвестно, но, так или иначе, семья наша была разрушена. Мама тяжко переживала потерю любимого человека. Была она молода и беззащитна в ту пору, ведь ей было всего 23 года.

Трудно представить, что отец был очарован, вернее, мог быть очарованным Ольгой Сергеевной. В дальнейшем, через восемь лет после его смерти, обстоятельства столкнули меня с ней. Я увидела некрасивую женщину. У нее были несколько выпуклые, водянистого цвета глаза и какой-то ноющий голос капризного оттенка. Она произвела на меня впечатление очень холодной, рассудочной, волевой натуры. Можно было представить, что она поставила себе цель завоевать отца. И расчетливо достигла своей цели. Мне трудно быть объективной в оценке этой женщины. Она не могла и никогда не вызывала во мне симпатии, но все же – может быть, действительно ее ум, начитанность, увлечение театром – все эти качества делали ее более привлекательной для отца, чем моя мама, хоть и очень миловидная, но малоразвитая, очень добрая, безвольная и, по-видимому, «пресная» натура... Трудно это понять, и разобраться в этом вопросе невозможно, тем более сейчас, когда все, решительно все участники этой драмы умерли. Дальше я опишу, как моя жизнь столкнулась с жизнью Ольги Сергеевны и я невольно заставила эту «коварную разлучницу» поволноваться.

> **Каждый год на все лето мама, Наташа и я уезжали в Фарбовано.**

Старики предпочитали заграничные курорты, такие, как Ницца или Ноугейм. Брали с собой штат прислуги – повара, лакея, горничных. Сопровождала их моя двоюродная сестра Муся Трубецкая.

В Фарбовано доживал свой век брат деда Митрофан Иванович с женой Варварой Ефимовной, занимая флигель из пяти комнат, несколько в стороне от

большого дома. Мы же селились в большом, каменном, двухэтажном доме, построенном в виде замка – с башней и четырьмя верандами на этажах. Первоначально дом в Фарбовано был совсем другим. Дедушка описывает его так: «Наша фарбованская усадьба была очень обширна и застроена необходимыми сельскохозяйственными зданиями. Дом был неказист, в один этаж, длинный, поместительный, крытый, как и все остальные постройки, соломой, по типу построек малороссийских старосветских помещиков, но который по мере прибавления семейства увеличивался пристройками».

Заветной мечтой дедушкиного отца было строительство нового, комфортабельного дома. Отец моего деда не дожил до окончания постройки нового дома. Его похоронили в новом склепе. Новый дом соответствовал вкусам и привычкам всей семьи. Он был красив и удобен. В нем было 25 комнат на двух этажах, балконы, террасы, ванная, уборная и водопровод. Громадный парк был приведен в порядок, расчищены и утрамбованы аллеи, посажены декоративные растения и разбиты нарядные клумбы возле дома. На лужайке был устроен фонтан с бассейном, а также большая обеденная палатка. Все это можно было видеть на больших фотографиях альбома, который благополучно дожил до сегодняшнего времени и хранится у моей дочери.

После смерти бабушки Насти дедушка с бабушками перестали приезжать на лето в Фарбовано, ездили за границу. Усадьба и дом постепенно запускались, разрушались. Я уже не помню ни башни, ни фонтана с бассейном, ни палатки для обедов. С каждым годом что-то убывало из обстановки дома Первые годы в

громадной, полукруглой гостиной был рояль, много мебели, на стенах – старинные картины в золоченых рамах. Полдню большую картину голландского мастера «Возвращение стада с поля». Потом не стало рояля, куда-то делась мебель, исчезла картина, снята была и хрустальная люстра.

Помещики Вишневские за картами.

Кто распоряжался этим поместьем – не знаю. Дедушка не появлялся в Фарбовано, был, правда, его управляющий, который жил в небольшом домике по дороге к фруктовому саду, заместительницей дедушки, мне кажется, была и Варвара Ефимовна – жена дедушкиного брата Митрофана. Это была энергичная, хозяйственная женщина. Так и вижу ее, хлопочущую то

около прачечной, то около пекарни. Причесывала она свои рыжеватые волосы по моде начала века – этаким валиком вокруг головы, одета обычно была в длинную юбку и широкую блузку навыпуск, так называемое «матинэ». Матинэ у нее были различные, и попроще, и нарядные – с кружевами и лентами. Носила они их при гостях, хотя туалет этот считался интимным – но по деревне это, по-видимому, было допустимым отклонением от установленного правила. Часто в ее руках позвякивали связки ключей. Стало быть, всевозможные съедобные заготовки и припасы были под ее контролем. Дедушка Митроша в хозяйственные вопросы никогда не вникал. Он был младшим братом моего деда и характеризовался им как человек неуравновешенный и беспечный.

Митрофан Иванович был любимцем матери, но жизнь сложилась у него, по мнению деда, неудачно. «Некоторое время он прослужил в Елисаветградском гусарском полку, а затем в полевом жандармском эскадроне. Выйдя в отставку, дни и ночи напролет проводил в клубе, играя в азартные игры, сошелся с какой-то шансонеткой, певицей, впоследствии обобравшей его», – пишет мой дед. В дальнейшем его полюбила камеристка этой певицы – скромная, порядочная девушка, на которой и женился Митрофан Иванович. Это и была Варвара Ефимовна. У них родился сын Александр, крестным отцом которого стал мой дедушка Гаврюша.

Флигель бабушки Вари. Слева в верхнем ряду сидят она и ее муж Митрофан Иванович.

Митрофан Иванович в центре, Варвара Ефимовна слева от него.

Варвара Ефимовна (верхний ряд слева) с фарбованской родней.

Дедушка Митроша, промотав и проиграв все свое состояние, доставшееся ему в наследство после смерти отца, очутился в безвыходном положении. Чтобы вывести его из беды, добрый брат – мой дед предложил ему поселиться в фарбованском флигеле на его иждивении, а также помог стать Митрофану земским начальником Пирятинского уезда. Я помню, как дедушка Митроша еще бегал со мной вперегонки вокруг большой клумбы, перед входом в дом, а потом, с

каждым нашим приездом в Фарбовано, он очень слабел, много болел и в результате умер году в 1916-м.

В Фарбовано меня не покидало ощущение большого счастья. Я ходила босиком, лазила по деревьям, дружила с разными ребятами, обычно это были дочери и сыновья многочисленной дворни. В Фарбовано я теряла свою застенчивость, забывались мои детские страхи, одним словом – я крепла морально и физически.

N. Ouzemsky
A KIEFF.

Александр – сын Митрофана и Варвары Вишневских.

Громадный парк с тенистыми аллеями вековых деревьев, лужайки, полные ромашек и колокольчиков, пение птиц, голоса кукушки и иволги, стрекотание кузнечиков в высокой траве, пруд, заросший по берегам тростником и покрытый зеленой ряской, в котором водились караси, а на поверхности цвели белые лилии и желтые кувшинки. Обширный плодовой сад, где стараниями опытного садовника были выращены всевозможные плоды и ягоды, такие, как разные сорта груш и яблок, черешни, шпанские и простые вишни, абрикосы, марель, различные сливы, кусты всевозможной смородины, кизил, барбарис, малина, клубника, земляника, ежевика, крыжовник и многое другое – все приводило меня в восторг, наполняло здоровьем. Раньше, при жизни стариков, в Фарбовано в оранжереях вызревали ананасы и редкие овощи – такие, как, например, артишоки, но мы с мамой уже их не застали, хотя огород и сохранившиеся теплицы тоже были полны разнообразных отборных овощей. Всегда можно было иметь к столу цветную, брюссельскую или красную капусту, свежую спаржу и всевозможные салаты.

Я готовила своим куклам еду из сладкой моркови, зеленого горошка, огурцов и помидоров и так сама наедалась этими овощами в сыром виде, что теряла аппетит и отказывалась за обедом от вкуснейших цыплят, жаренных в сухарях, которые так искусно готовила наша Пелагея.

Часть парка рядом с домом называлась молодым садом и состояла главным образом из редких для

Малороссии деревьев, – грецкого ореха. Было у меня там излюбленное дерево, я забиралась на него и долго сидела на верхушке, удобно устроившись на природном как бы кресле, которое получалось из расходившихся из одной точки нескольких ветвей. В зеленом полумраке дерева чудесно пахло горьковатым ароматом его листьев, и мне казалось, что я нахожусь в каких-то экзотических джунглях и вот-вот внизу мелькнет спина какого-нибудь хищника – тигра!

А за флигелем, по правую руку от большой аллеи, находился старый сад, знаменитый своими шелковичными (или тутовыми) деревьями. Оттуда я возвращалась, перемазав щеки и руки черной, сладчайшей шелковицей. Старый сад был на солнцепеке, и я не часто бегала туда, предпочитая проводить время в жаркие дни в тени прохладных аллей парка или ароматном молодом саду.

Сейчас смешно вспоминать, как мама чуть не за месяц до отъезда в Фарбовано начинала укладываться и волноваться. Жизнь в начале века, тем более в провинциальном Киеве, была так медлительна и однообразна, что поездка всего за 90 верст от города казалась событием большой важности. Поезд привозил нас на станцию Яготин, где уже ждал фаэтон с парой лошадей. Мы ехали 18 верст по полям, обдаваемые пылью и знойным ветерком. Всякий раз, когда вдали начинал чернеть силуэт парка, сердце учащенно билось. Вот и пруд, мы едем вдоль него, на той стороне в просвете центральной аллеи парка на секунду мелькает наш дом. Волнующее мгновение! Объезжаем пруд, едем по гребле (кажется, так назывался мост). Направо остается деревня Новоселища с ее широкой, прямой улицей, налево

начинается забор нашей усадьбы, за ним скрывается фруктовый сад с огородом. Преодолев небольшой подъем, едем вдоль забора и наконец въезжаем через большие белые ворота к дому. Таких ворот на усадьбе трое, все большие белые, двухстворчатые, хорошо видные в темноте. Через последние можно въехать на скотный двор и к флигелю бабушки Вари, через вторые – к большой клумбе перед террасой дома, а первые ведут к боковой аллее вдоль молодого сада.

Девушка в переднике – Наташа Сергеева, третий подкидыш в семье Вишневских, одна из детей – Лена Вишневская.

Когда мама с Наташей надевали соломенные шляпы, с большими полями, поверх которых завязывали

газовые шарфы, брали с собой разные корзинки и ридикюли (так в то время назывались дамские сумочки), – это значило, что они собирались в местечко Яготин за мелкими покупками. Чаще всего они садились в фаэтон возле флигеля и выезжали на дорогу из последних ворот. Я махала вслед рукой, и пока фаэтон разворачивался и огибал усадьбу, я мчалась к большому дому и по боковой аллее к первым воротам, чтобы еще раз встретить их и еще попрощаться, удивить проезжающих быстротой моего бега. В самом деле, я бегала очень быстро, соперничая с лошадьми. Из Яготина мама с Наташей привозили жестяные банки с разноцветными монпансье, разные специи для кухни и несколько отрезов чарующего мое воображение простого ситца для летних платьев, который источал какой-то волнующий аромат. Красное в белые точки новое платье я готова была носить, не снимая, все лето, так оно мне нравилось. Все дети любят красный цвет.

Продолжу о приезде в Фарбовано. Итак, мы приезжаем. Дом встречает нас прохладой своих отсыревших за зиму комнат, таинственностью лестниц, переходов, мраком подвала, полного старых хрустальных люстр и бронзового лома. Пока мама с Наташей распаковывают вещи, а служанка топит соломой голландскую печь, я бегу в парк к домику садовника, к пруду, затем на скотный двор, в сараи, где дряхлеют старые кареты и брички, там пахнет дегтем и особым, волнующим ароматом минувших времен. Забегаю в прачечную и пекарню. Возле кузни меня встречают ласковые собаки – черная с белым Лыска и громадный, кудлатый, рыжий Жмурко. Это любящая чета!

А вот греется на солнце древний старик. Он сидит на лавочке возле пекарни, опершись на суковатую палку, и тихонько покуривает из старой трубки ядовитый самосад. Зовут его – Андрей «без пальчика». Палец потерял он на одной из давным-давно отгремевших войн. А сам был еще крепостным у моего прадеда. Теперь спокойно доживает свои дни на хозяйских хлебах в Фарбовано. Вечером мы пьем чай у бабушки Вари с различными вареньями, домашними ватрушками и крошечными, рассыпчатыми пирожными, начиненными вишнями.

С поля доносятся мелодичные украинские песни, это возвращаются после работы девчата. Вслед за ними с оглушительным карканьем летят тучи ворон. Их гнезда большими шапками покрывают высокие деревья парка. Темнеет. Появляются первые звезды. Мы берем стеклянный фонарь со свечой и идем по кирпичной дорожке из флигеля в большой дом. Усталая, я засыпаю мгновенно на прохладных простынях. Утром меня будит знакомый сладостный звук большого колодезного колеса, кухарка любит набирать из колодца воду для самовара. Через 60 с лишком лет я все еще слышу его голос и помню все запахи, все чарующие звуки того поистине «земного рая», каким являлось для меня Фарбовано.

Фарбована в свои лучшие дни.

Жили мы там довольно уединенно, гости наезжали к нам редко, еще реже мы ездили к ним сами. Вспоминаю малоинтересные посещения нами каких-то мелких помещиков по фамилии Сангеровы, долго ехали к ним фаэтоном, долго проезжали поля. У них было как-то тесно, душно. За чайным столом хлопотали две пожилые сестры, угощали медом и вареньем из роз. Только это мне и запомнилось, а больше ничего. Я помирала у них от тоски.

Интересно было у Левашовых, ближайших наших соседей. Их хутор находился почти рядом с нашим имением. Старуха Левашова отличалась оригинальными выходками. Громко говорила, была экспансивна, увлекалась разными новшествами, в частности, ела сырые овощи – морковь, капусту, свеклу, даже кукурузу, что по тем временам расценивалось как чудачество. При ней произрастал какой-то чудаковатый сын – Александр Николаевич, застарелый холостяк. Такой «маменькин сынок», с приступами визгливого смеха и подпрыгивающей походкой. Он немножко ухаживал за моей мамой, что ее смешило, уж очень он был нелеп. И вдруг, в один из наших приездов в Фарбовано мы узнали, что Левашов женился на какой-то москвичке, с двумя девочками. Его женой стала Ксения Эрнестовна Купецио – художница. Это была рослая блондинка типа шведки или финки, довольно симпатичная, но не первой молодости. Дочери – старшая Ирина, моего возраста, и младшая – Ксения. В их доме, выстроенном наподобие современных дач, т. е. одноэтажный, дешевый, деревянный, с большими окнами и очень жаркий, т. к. сильно пропускал солнце, стало пахнуть масляными

красками, и повсюду висели полотна. Ксения Эрнестовна главным образом писала пионы – белые и розовые. Я дружила с Ирой. Потом родился Мива, а затем Аллочка. Через многие годы Мива стал появляться у меня в Москве на улице Огарева. Он учился тогда на юридическом факультете МГУ, и, чтобы попасть к нам, ему надо было только пересечь улицу Герцена. О сводных сестрах он рассказывал неохотно, да и я мало интересовалась ими – была по уши увлечена своей работой во МХАТе.

Потом Мива исчез бесследно. А мне как-то попались в руки две открытки, изображающие цветы, подпись была – К. Купецио. По-видимому, автор Ксения. Затем я узнала, что Алла Левашова является директором Дома моделей на Кузнецком мосту. Ее очень ценили, она умерла от рака в 50-е годы, будучи в самом расцвете сил и творчества. Об Ирине я никогда, ничего не слышала. Так исчезла из поля моего зрения вся семья. Я их не искала, они не искали меня. Впрочем, однажды написала Ксении в общежитие, где, как мне сказали, она жила, что могу передать ей кое-какие фотографии их семьи, но ответа от нее не последовало. По слухам, у нее была сложная личная ситуация и она вела изолированный образ жизни.

Яркие воспоминания остались у меня от нашей поездки в имение дяди Коли Трубецкого – Белоусовку. Богатый дом, налаженное хозяйство, строгий порядок – все на высшем уровне. Горничная в наколке и белом фартуке приносила ледяное молоко из погреба, сервировка стола была как у деда в лучшие времена. Сыновья, Пепа и Вова, повзрослели, перестали меня дразнить, как бывало в детстве за обедом у дедушки. Вова предложил мне сесть на его велосипед, а я от

смущения, недолго думая, засунула пятку в колесо во время движения и стала инвалидом на три дня, а там надо было возвращаться домой. Так что не очень-то я развлекалась в Белоусовке. Пролежала во флигеле, мне туда приносили еду, очень мне было там неуютно и холодно. И хоть в Фарбовано не было такого железного порядка, как в Белоусовке, но насколько же наше имение было мне милее!

В семье бабушки Вари, так же как и у деда Гавриила, не обошлось без внебрачных детей. Служанка бабушки – красавица Марта, дородная, синеглазая крестьянка с каштанового цвета косой вокруг головы, родила от дяди Саши прелестного мальчишечку, назвали его Михаилом. Бабушка Варя души не чаяла в своем Мишуньке, который вырос в резвого, обаятельного ребенка с чудесными ямочками на щеках. Сам себя Мишунька почему-то называл «Коночка». Так и пошло – Коночка, Коночка. Дядя Саша не собирался жениться на простой крестьянке Марте, а она, по-видимому, очень страдала от этого. Я помню Мишуньку, когда он уже стал самостоятельно ходить и начал играть со мной в незамысловатые игры. Мне он очень нравился. Но в один из наших приездов в Фарбовано случилось что-то непонятное для меня. Сейчас я даже не помню, как именно оно произошло, может быть, я услышала какие-то таинственные разговоры взрослых, какие-то замалчивания, недоговоренности при моем появлении, но только я почувствовала, что нечто стыдное, то, что надо скрывать и скрывается, существует у бабушки Вари, и это имеет непосредственное отношение к Мишуньке, к его матери, к дяде Саше.

Эти глупейшие условности того времени создали невыносимую для меня атмосферу. Ничего не

понимая, я была сбита с толку и мгновенно заливалась краской стыда, когда упоминалось имя Мишуньки. Краснела я мучительно, чуть ли не до слез. Уши, щеки, даже шея делались багрового цвета. То лето было для меня испорчено, я мучилась в догадках, потеряла непосредственность, цепенела от застенчивости. Мама не слишком была ко мне внимательна и не замечала моего замешательства.

К сожалению, почему и как рождаются дети, я узнала не от нее, а от своих сверстников-мальчишек, и не всегда это было сказано мне в достойных выражениях. Как непростительно глупы бывают родители, которые стыдливо ускользают от подобных объяснений, предоставляя своих детей случайным, иной раз весьма пошлым, и гаденьким информаторам. Через год бесследно прошло то, что меня мучило, я повзрослела и, по-видимому, поняла сложившуюся ситуацию с Мишунькой.

Война 1914–1916 годов шла где-то, как мне казалось, вдалеке и совсем не меняла нашего беспечного существования. В Киеве появлялись на улицах офицеры, с перевязками и на костылях. Мама и Наташа помогали сестрам милосердия, так назывались медицинские сестры по уходу за ранеными. Мне кажется, что в здании банка на нашей Владимирской улице был размещен лазарет. Мне однажды выдали металлическую кружку для сбора на улице пожертвований в пользу пострадавших от войны. Тем, кто опускал в кружку монеты, я прикалывала к платью искусственную ромашку. Стеснялась я ужасно, но все-таки кое-что собрала и потому была горда своей помощью.

Александра Ивановна во время работы в госпитале.

А в Фарбовано мы продолжали ездить и там совсем забывали о войне. Мне была выделена комната, где я

развела настоящий зверинец: котики, воробьи, сова, ежик, караси и т. п. Покидать наше чудесное имение каждую осень было до слез жалко. Последний раз я была там летом 1917 года. В губернии бесчинствовала банда некой Маруси, приближался Махно. Банды грабили имения и убивали помещиков. Мама срочно сложила наши вещи, и мы перебрались во флигель. Помню, как просидели там всю ночь в темноте. Бабушка Варя нервно набивала ароматным табаком гильзы папирос, и одну за другой, не переставая, выкуривала их, а мы сидели в спертом воздухе гостиной, боясь открыть окно, и ждали, что вот-вот с гиканьем и стрельбой нагрянет банда и нам придет конец.

> На рассвете мы покинули Фарбовано и больше туда не вернулись.

В середине 20-х годов в деревню к крестьянам Гордеенко на новоселье съездила наша смелая Наташа. Вернулась она в Киев ошеломленная произошедшими переменами. Имения не существовало, будто бы и не было его там никогда, ни дома, ни флигеля, ни многочисленных служб, даже огромного парка с вековыми деревьями уже не было. Не осталось и следа от всей этой красоты. Вместо пруда была большая лужа, в которой нежились деревенские свиньи. Волна народного гнева смела с лица нашей страны в числе «дворянских гнезд» и наше любимое «гнездо» Фарбовано. Как образ любимого человека после его смерти остается в нашей памяти вечно живым, так и Фарбовано живет и радует мои воспоминания своей ныне сгинувшей, но все еще существующей для меня, нетленной красотой.

С бабушкой Варей и дядей Сашей мы виделись позже, в местечке Меджибож (станция Деражня). Дядя Саша был женат на красотке Ане. Мишунька отсутствовал. Мама, Наташа и я гостили у них две недели в 1920 или 1921 году. После голода в Киеве мы отъедались на их щедрых хлебах. Впоследствии Аня ушла от дяди Саши, он умер, а бабушка с Мишуней уехали в Новосибирск. Больше ничего не известно, т. к. была Гражданская война, а позже Великая Отечественная.

После отъезда из Фарбовано наша жизнь завертелась, закружилась в новых обстоятельствах, которые изменили не только ее ритм и внешнюю форму, но и само содержание.

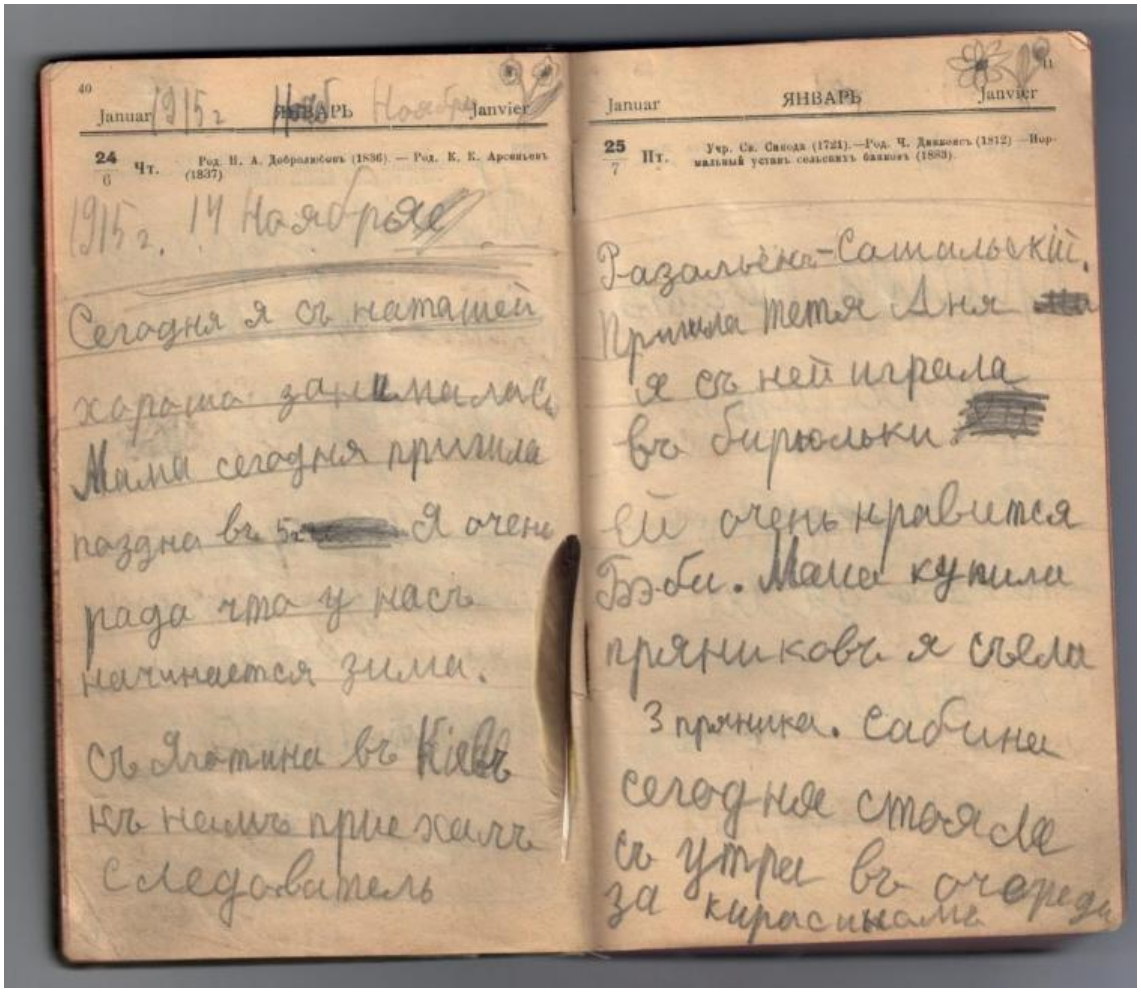
В моем детском дневнике, который по настоянию Наташи я начала вести с осени 1915 года, есть завершающая запись, датированная 8-м и 17-м марта 1917 года. В ней, с наивностью десятилетней девочки, передавая разговоры взрослых, я все-таки невольно отражаю основные события и ту атмосферу нашей семьи, которая так далека была от понимания происходящего и от активного участия в наступающей революции.

Вот эта детская запись:

«8-е марта 1917 года.

О, какое тяжелое время мы теперь переживаем. Наш государь, Николай Александрович, отрекся от престола и хотел, чтобы царствовал его брат Михаил Александрович, а не наследник, теперь чуть не был бунт. Всех министров старых арестовали и большую часть убили, и все это из-за министров, они не помогали России, а помогали Германии, и никто об этом не знал. Мне очень жаль Государя и наследника

(у него корь), а государыню мне нисколько не жаль, ведь из-за нее тоже все вышло, ведь она немка. Было страшно ходить в гимназию самой, утром меня водила два дня Сабина, а приводила мамочка.



Страницы дневника Лены Вишневской с перышком из 1915 г.

17 марта 1917 года.

Михаил Александрович не захотел царствовать, а теперь будет править народ. Столыпина сняли, как глупо они поступили, что раньше взяли, повязали лицо красной тряпкой, сделали белый пояс и написали на нем: «Уголовный преступник» (речь идет о памятнике). Вчера был праздник Свободы. Носили по улицам

красные знамена с надписями и кричали все время: «Ура, да здравствует Российская свобода». Еврейские знамена, очень красивые, с рисунками. Я была с мамочкой на Крещатике, была ужасная толкотня. У меня есть очень хорошая подруга – Дуся Гольберин, еврейка, но у нее нет ничего еврейского, я ее очень люблю». А вот страничка из дневника моего деда Гавриила Ивановича Вишневского: «В записках «Дни», изданных бывшим членом Государственной Думы В. В. Шульгиным, разрешенных Советскими властями к продаже, он описывает своей приезд с Л. И. Гучковым в Псков и посещение ими вместе с генералом Рузским Государя Николая II для вручения ему, по поручению комитета Государственной Думы, проекта отречения от престола. Он говорит, между прочим, следующее: «Гучков передал Государю набросок отреченья. Государь взял его и вышел. Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст». Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. К его тексту отречения нечего было прибавить. Так благородны были эти прощальные слова… И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше любит Россию».

Детям всякая перемена интересна. Я помню, что даже самые опасные моменты тех дней воспринимались мной как нечто увлекательное.

Мы покинули нашу мансарду на Владимирской улице и переехали жить к дедушке, заняли одну из комнат для приезжих. Смешались дни и ночи. Артиллерийский обстрел заставлял нас прятаться в подвале гостиницы «Франсуа». Один раз, перебегая туда, мы уронили по дороге две свечи, пришлось за ними вернуться, и как

раз недалеко шлепнулся снаряд. Осколки со свистом ударили в стену Оперного театра. Мама побледнела от страха, я же, не понимая опасности, остановилась, чтобы дождаться второго снаряда, ведь так весело и интересно смотреть, как падают и рвутся снаряды! Кажется, мне крепко тогда досталось за легкомыслие от мамы.

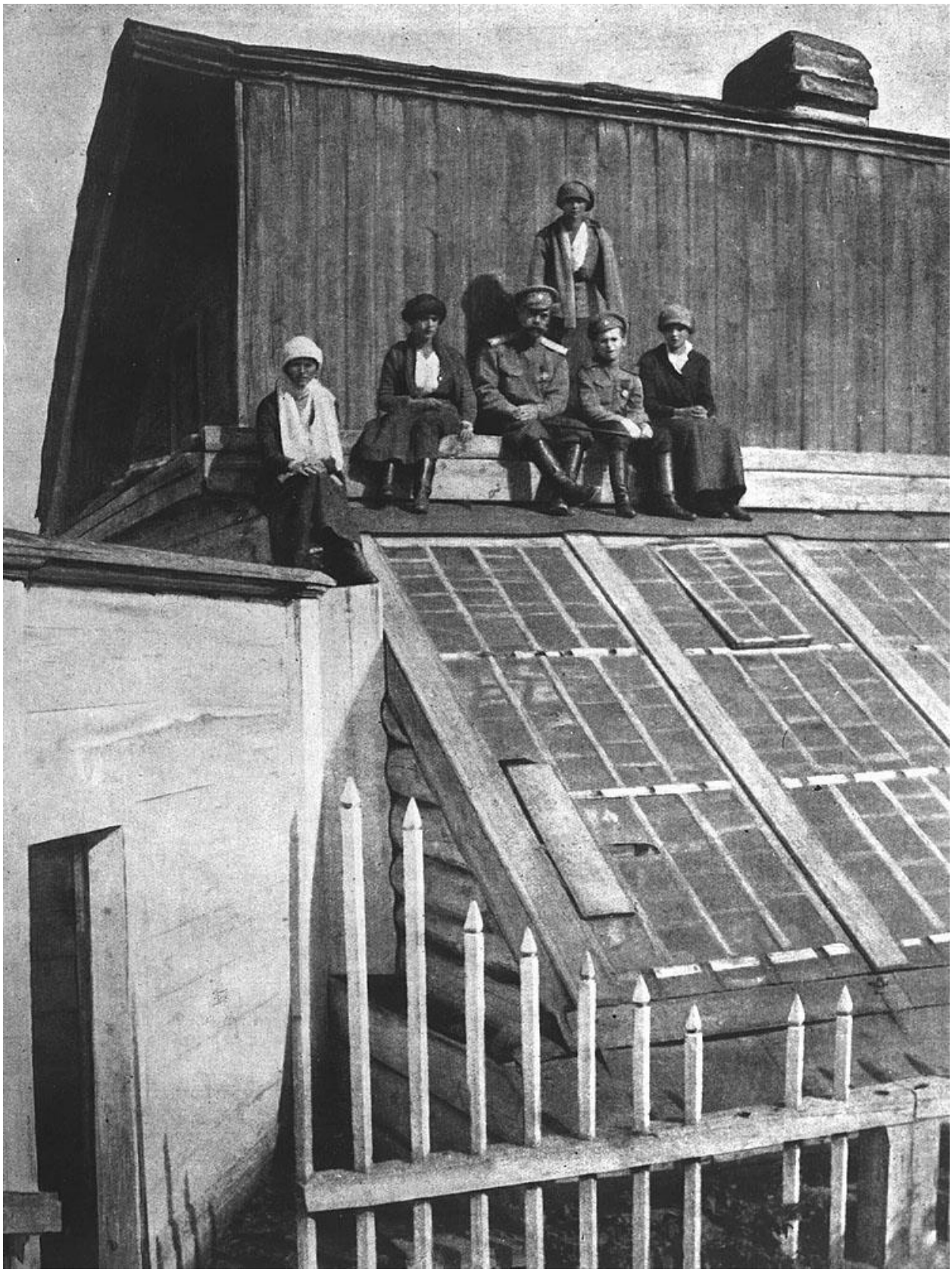
Дедушка с бабушками проявили необыкновенное хладнокровие и выдержку. Во время всех обстрелов они играли в карты, никуда не прятались, только перенесли ломберный стол из гостиной в столовую. А между тем вряд ли у них было спокойно на душе. Дедушка терял всю свою собственность, терял привычный образ жизни, будущее не сулило радостей, происходил переворот всей жизни.

Киев сотрясался от множества перемен. Власть менялась чуть ли не по 15 раз, и столько же менялся флаг на здании Государственной Думы. Когда затихала канонада, жители выходили из своих укрытий. Мама тоже пошла со мной на Крещатик, вдруг началась перестрелка. Мы спрятались в Пассаже, а потом увидели желто-блакитный флаг на Думе, а полчаса тому назад был бело-красно-синий. Так дни обстрела и уличных боев сменялись короткими днями затишья, когда новая, очередная власть собиралась обосноваться на Украине и по центральным улицам Киева шагали войска иностранных армий или гарцевали на конях деникинцы, мчались гайдамаки, петлюровцы, махновцы и прочие банды.

Я выросла в атмосфере дворянских, помещичьих интересов. Слово «большевики» в то время произносилось в нашей семье с большой тревогой.

«Кто такие эти большевики?» – все чаще и чаще стала я думать. Так хотелось их увидеть.

Однажды в один из дней затишья я вышла на нашу улицу. На тротуарах стояли толпы прохожих. Все смотрели в сторону Крещатика, а оттуда по мостовой Фундуклеевской улицы я увидела, как поднимается в гору какая-то темная масса людей. По мере приближения затихали оживленные разговоры горожан, и когда первые ряды идущих поравнялись с нами, установилась на улице уже полная тишина. И в этой тишине плечо к плечу тесным строем, с винтовками за спинами, в темных, рваных кепках, картузах или с забинтованными головами, со следами крови на бинтах, тяжелым шагом шли какие-то серьезные, очень усталые люди. Что-то простое, ясное и вместе с тем чрезвычайно значительное было в их лицах, необычайная сила исходила от них.



Последний русский царь Николай II в Тобольске с семьей ожидает своей участи.

Это была какая-то мощная лавина людей, уверенных в своей правоте.

Как зачарованная смотрела я на них. Кто-то за моей спиной восторженно произнес: «Большевики!»

Да, это были большевики! Это шли передовые части народной армии, с победой вышедшие из боев за молодую Советскую Республику. Это шли идейные борцы за Революцию, за новую, счастливую жизнь на Земле! В то время я, конечно, не могла всего этого понять, но я почувствовала основное: что-то громадное, сильное, вселяющее доверие. Эта первая встреча с большевиками произвела на меня глубокое, волнующее впечатление. Она оставила неизгладимый след на всей моей жизни.

Постепенно отгремели бурные годы Гражданской войны, и наконец наступило мирное строительство молодой Советской страны. Старый режим безвозвратно ушел в прошлое. Изменился весь стиль жизни, а с ним и психология окружавших меня людей.

Дед Гавриил проявил достойное глубокого уважения здравомыслие и сумел объективно оценить ход истории. Я лишь знаю, что, потеряв все свое состояние, он не только не превратился во врага нового строя, но даже никогда не роптал, не критиковал его. Может быть, именно поэтому, когда его арестовали, он отсутствовал всего несколько часов и, вернувшись домой в бодром настроении, говорил, что с ним в ЧК вели беседу вежливо и спокойно.

В то время он был достаточно стар, уже мне казался совсем древним. Вместе со всеми он и бабушка Юля испытывали лишения и голод. Воображаю, как тяжело переносили старики холод, отсутствие электричества, воды, скудное питание. В годы разрухи бывали очень тяжелые испытания. Все хорошие комнаты дедушкиной квартиры заняло какое-то учреждение. Мы размещались в комнатах для приезжих. К тому времени уже не было в живых ни бабушки Лизы, ни Маши. Старики занимали две длинные комнатки – одна светлая с окном на Оперный театр и вторая – полутемная, примыкающая к первой, проходная с выходом в коридор. Далее – Муся с Наташей, затем я с мамой и в последней по коридору комнате – горничная Маруся Лацко, которая в свое время ездила со стариками в Ниццу и так и осталась в этой квартире, посильно помогала им, но больше хитро присваивала оставшиеся ценности, не желая возвращаться в своим родным в деревню. В ее обязанности входило приготовление некоего варева из пшена. Это был так называемый кулеш, чуть присоленный, без единой жиринки. Ели его каждый день, унося тарелки по своим комнатам. По карточкам получали гороховый хлеб. Пили морковный чай с сахарином. Помню, что бабушка, как деликатес, давала деду отварную холодную фасоль с уксусом. Мы этого не имели. Пшено так опротивело, что я потом несколько десятилетий его не могла видеть, да и теперь, через 60 лет, не испытываю желания есть даже что-нибудь достаточно вкусное из пшена.

Мама поступила работать в Дезотряд. Наташа и Муся тоже что-то делали, зарабатывали на свое пропитание. А старики жили на деньги, получаемые от продажи

посуды. Я помню сохранившиеся два высоких плоских шкафа, в которых стояло столовое стекло. Это были всевозможные рюмки, бокалы, стаканы благородной формы, шлифованного венецианского стекла, с матовыми монограммами деда. В свое время дед заказывал их в Венеции.

Маруся никому не доверяла ключи от этих сокровищ, завязывала всюду какие-то узелки, всех подозревала в воровстве и распоряжалась содержимым шкафов как хотела, были, очевидно, и другие вещи, которые шли на продажу или в обмен на продукты, но я не знала, где они хранятся. Муся и мама предоставили Маруське целиком и полностью заниматься куплей-продажей, а она плела какие-то интриги в погоне за доверием к ней стариков и наглела не по дням, а по часам.

Вся дорогая мебель, ковры, мраморные статуи, рояль, малахитовый стол, зеркала по совету каких-то паникеров были отправлены дедом по железной дороге неведомо куда, где все это безвозвратно сгинуло.

Все титулованные родственники и знакомые тоже исчезли, их разметало и сдуло шквалом революции.

Из Трубецких остались только родители Муси. Дядя Володя стал работать в поликлинике Красного Креста.

Дедушка и бабушка придерживались какого-то режима в этой голодной, холодной новой жизни. Вечерами при тусклом освещении коптилки дед читал бабушке вслух книги на французском языке, а днем они выходили гулять. Трогательное это было зрелище. Так и вижу это почтенную пару. Оба в черном, дед держит бабушку под руку, и медленно идут они через двор. «Пара гнедых!» До революции был в моде такой романс.

Пара гнедых,
запряженных зарею,
Тощих, голодных и
грустных на вид,
Медленно вы
поднимаетесь в гору И
вызываете смеху иных.
Были когда-то и вы
рысаками, И кучеров вы
имели лихих…
Баша хозяйка
состарилась с вами.
Пара гнедых. Да, пара
гнедых…

Из Киева я уехала в 1927 году. Дедушка умер в мое отсутствие, году в 1930–1931. Было ему за 80 лет. Бабушка пережила его на несколько лет. В 1934 году покинула Киев и моя мама, т. к. вышла замуж и ждала ребенка, а Маруська Лацко оставалась там еще долго, живя в коммунальной этой квартире с чужими людьми и награбленным у стариков добром. И в один прекрасный день исчезла. Нашли ее труп где-то в далеком лесу, собирала ягоды, умерла от инсульта.

VISIT-
PORTRAIT

Владимир Петрович Трубецкой (отец Муси), врач – работал им и после революции.

Двадцатилетняя Елена Вишневская

В те холодные, голодные годы в нашей полутемной комнате стоял великолепный кабинетный рояль марки «Блютнер»; удирая от революции за границу, его оставила дедушке графиня Коновицина с условием отдать ей при первом благоприятном случае. Коновицина была владелицей роскошной гостиницы «Континенталь» в Киеве и, очевидно, располагала большими средствами за границей. На этом прекрасном рояле я начала играть Патетическую сонату Бетховена, но продвигалась медленно, т. к. пальцы рук были отморожены, трескалась даже на них кожа. Звук рояля был глубокий, чарующий, и я, превозмогая боль в руках, играла с удовольствием, но… наступил день, когда появилась у нас француженка – компаньонка графини, с письмом от последней и…

Мы, конечно, вернули этот рояль. В комнате стало свободнее, но занятия мои постепенно заглохли! Ходить заниматься музыкой к одной из моих подруг было совсем неудобно. Так кончилась моя музыкальная карьера!

После окончания кое-как гимназии, которая теперь называлась Единая трудовая школа, и получив удостоверение в том, что я прошла полный курс 6-ти групп (!), у меня началась новая, полная интересных занятий и общения, увлекательная жизнь. Я поступила на драматическое отделение киевской Школы искусств, профессия отца влекла меня неудержимо. Я решила стать актрисой. Решение это было закономерным. Стремление к театру накапливалось постепенно. Очевидно, зародилось оно еще в раннем

детстве, когда такими привлекательными, праздничными казались церковные службы, хождение с хоругвями вокруг церкви. Затем впервые я попала на оперу «Царь – плотник», в которой многое мне было непонятно, и запомнилось только, как кто-то провалился на сцене в бочку и не мог оттуда выкарабкаться. Вокруг смеялись, а я чуть не заплакала от жалости к этому неудачнику. Но было интересно смотреть и слушать музыку, было какое-то радостное ощущение праздника, много света, много людей, непонятная, но красивая жизнь на сцене.

Вторым спектаклем в Оперном театре был летающий балет, сказочно красивый, после которого я долго рисовала каких-то цветных уродцев с крыльями. Но что завладело моей душой без остатка, так это спектакль в театре им. Соловцева «Степка-растрепка», на который меня повели почему-то 1-го января 1917 года. Я была им буквально потрясена. Как я теперь понимаю, Степку, наверное, играла довольно полная, не слишком молодая актриса, но я видела какого-то особенного крепыша-мальчика, с ярко-розовым лицом, с очень громким голосом и каскадом шуток и проказ. А вокруг зеленые кусты и громадные цветы. Все значительнее, крупнее, заманчивее, чем бывает в жизни. Я была зачарована этой яркостью, необычностью, новизной увиденного. Трудно было оторваться от этого захватывающего зрелища, не хотелось уходить домой.

После этого спектакля игры с подружками стали увлекательнее и разнообразнее, я рядилась в малиновый мамин халат с черными трефами, делала высокую прическу и изображала то фею, то царицу, то чью-нибудь маму.

А в гимназии уже с приготовительного класса начались мои выступления в концертах. Пела соло «Киску», затем «Куда вы, сударь-воробей?». Танцевала соло, русскую – танец поставила знаменитая балерина Ланге. Читала стихи, пела с хором, танцевала с группой «Белые – бледные». По-видимому, мне это все нравилось, а моя болезненная застенчивость перестала мне мешать. На выпускном вечере в школе я играла даже героинь, в двух отрывках из произведений Тургенева – «Новь» и «Накануне» выступила публично с большим увлечением…

Что представляла из себя моя первая музыкальная школа? Находилась она рядом с Оперным театром, на углу Владимирской улицы. Называлась весьма громко – Школа искусств, но являлась весьма своеобразным

заведением. Если не ошибаюсь, существовала она на средства частного лица по фамилии Бебеш. Это было время нэпа Бебеш на свой капитал открыл в Киеве кафе-мороженое и захотел еще стать меценатом искусств. Помню, появлялся он несколько раз в школе, небольшого роста, весьма пухлый мужчина восточного типа, в темном костюме и котелке – ожившее олицетворение тех нэпманов, изображения которых я видела впоследствии на плакатах.

По-видимому, на скорую руку был сколочен преподавательский состав, в котором рядом с подлинными мастерами своего дела были и случайные люди, делившиеся с нами своими относительными знаниями. В Школе искусств было два отделения – театральное и живописи. Руководительницей первого являлась бывшая провинциальная актриса Мария Никитична Ливанова. Это была обаятельная пожилая женщина болезненной внешности, с впалыми щеками и хрипловатым голосом. Что-то неуравновешенное, нервозное ощущалось в ее поведении. Мне иногда казалось, что она наркоманка. Полной противоположностью был ее супруг – художник Борис Сергеевич Романовский, он возглавлял отделение живописи. Внимательный, добрый, знающий свое дело человек.

Возрастной состав учащихся был весьма разнообразен, начиная от вчерашних школьниц и заканчивая изрядно пожилыми дамами. Среди последних иногда были просто искательницы приключений или женщины неудавшейся судьбы, никакого отношения не имевшие к театральному искусству, благо в эту школу принимали кого угодно без вступительных экзаменов. Хорошо помню некую

Мару Милинис, она чаще всего сидела в темной комнатушке с какими-нибудь мужчинами. Тощая, наглая и деятельная в своих любовных похождениях, она в школе нашла удобное место для своих наклонностей.

Была еще и некая Женя Самородова – бледная, вялая, изнемогающая от одиночества. Были еще две-три, подобные этим двум, т.

е. случайные люди, искавшие в школе что угодно, но только не театральное учение. Дочь Марии Никитичны – Тина была лет 16-ти, не старше. Небольшого роста, коротконогая, крепкого телосложения, это была уже вполне сформировавшаяся женщина, не только внешне, но и по своему поведению. Мария Никитична ни на что не обращала внимания, подобная бесконтрольность привела в результате к тому, что в Школе искусств устраивались «афинские ночи», пока не прикрыли это заведение подоспевшие блюстители закона. Об этом я узнала, когда благополучно уже училась в театральном техникуме.

Не знаю, как обстояли дела у будущих художников, но наше театральное отделение занималось главным образом гимнастикой и пластикой. Преподавала опытная балерина Язвицкая. Занятия были регулярные и много дали мне в смысле освобождения от остатков застенчивости и физической скованности. Все же остальные дисциплины были поставлены, как я понимаю, из рук вон плохо. Не помню, чтобы у нас были занятия по постановке голоса и дикции. По-видимому, Мария Никитична неспособна была что-либо преподавать, а только «возглавляла». Два-три урока художественного чтения дал знаменитый артист

Харламов, страдавший длительными запоями, и исчез он так же внезапно, как и появился. Изредка читались кое-какие лекции о театре, об античном искусстве. Этим занимался с нами Владимир Николаевич Лунин. Обаятельный, интеллигентный человек, среднего возраста, стройный, привлекательный внешности. Впоследствии я узнала, что он являлся племянником царского министра Сухомлинова и дожил только до рокового 1937 года, став жертвой массового истребления интеллигенции мерзавцами, стоявшими во главе ГПУ. Я вспоминаю о нем с благодарностью, т. к. он оказал мне дружескую поддержку в Москве в 1927 году.

В Школе искусств следовало знакомить нас с азбукой сценического творчества, но об этом никто и речи не заводил. А между тем К. С. Станиславский давно уже создал основу своей знаменитой системы, но то было в Москве, а Киев продолжал жить по старинке. В лучшем случае учили играть «с голоса». В составе школы было несколько профессиональных актрис и актеров с опытом, оказавшихся случайно не у дел, но и они не занимались с нами. Известное оживление внес талантливый украинский актер – Амвросий Максимилианович Бучма. В то время он увлекался биомеханикой, и наши этюды по мимодраме были насыщены физкультурой и внешней выразительностью. Помню, однажды он дал мне и Тине задание для домашней работы: надо было сочинить сценку и уложить свои действия в заданный им определенный ритм, где чередовались четверти, половины, восьмые и т. д. Это было интересно, развивало фантазию, сосредоточивало на действии.

Мы удачно разыграли «Побег из тюрьмы». Но, к сожалению, и Бучма долго у нас не задержался.

Старшая группа актеров поставила комедию К. Пруткова «Фантазия», а Мария Никитична пыталась ставить «Электру» Софокла, где мы пыжились до головокружения, учащенно дышали, изображая трагедию, с пафосом произносили не своими голосами величественные тексты, но смысл для нас был темен, как, по-видимому, и для нашей Марии Никитичны. В результате «Электра» не состоялась, а я неожиданно получила роль Простушки в старинном водевиле «Простушка и воспитанная». Почему-то совсем не помню, как шли репетиции и кто со мной работал. По-видимому, репетиций было немного, т. к. я волновалась за текст, но спектакль состоялся и имел хороший успех у зрителей.

Играли мы в клубе «Медсантруд», где врачом был мой дядя Трубецкой. Он остался доволен моей наивной, искренней игрой. Это и было мое «боевое крещение». Как я была счастлива в тот вечер! На меня надели старинного покроя длинное платье, сшитое из простой мешковины. Б. С. Романовский ярко расписал это платье масляными красками, он же и загримировал меня. Дух захватывало у меня от всей этой красоты! Я была в блаженном состоянии, как будто летела на крыльях. «Милый Сенечка, перестань меня бранить, не умею я ни ходить, ни говорить...» – пела я незамысловатые куплеты, и, очевидно, моя молодая неопытность как нельзя лучше подходила к образу простушки.

Юная и счастливая актриса.

«Воспитанную» играла Нина Мордовина Это была далеко не молодая, миниатюрная женщина, слабая, болезненная, с тихим голосом. Похожа она была на стрекозу или кузнечика, словом, скорее на какое-то насекомое, чем на женщину. И это отсутствие здоровья и ее бестелесность, по-видимому, удачно оттеняли мои молодые данные и тоже положительно сказывались на изображаемом ею образе. Спектакль прошел всего один раз, но имел искренний, большой успех.

Пропагандистский поезд рекламирует новый антибуржуазный театр.

Летом 1924 года, понимая, что Школа искусств не может дать мне необходимых знаний, я держала экзамен в драматическую школу при театре Русской драмы. Экзамены происходили в Театре им. Соловцева. Я читала стихотворение Гумилева «Влюбленная в дьявола». В ту пору я увлекалась «роковизмом». Носила гладкую прическу, закрывающую уши «a la Kleo de Merode», и черное платье из сатина. Я изо всех сил стремилась казаться взрослой и загадочной. Своим чтением я произвела положительное впечатление на экзаменаторов, и, помню, артист Догмаров начал расспрашивать меня о моих родителях. Узнав, что мой отец был артистом Малого театра, он, по-видимому, решил, что не без его помощи я так удачно овладела этим стихотворением Короче говоря, вся экзаменационная комиссия напутствовала меня добрыми пожеланиями и признала мои сценические способности.

С осени я стала посещать занятия на I-м курсе. Школа находилась на втором этаже правого крыла Русскою драматического театра им.

Шевченко (ныне им. Леси Украинки) на ул. Ленина, она приравнивалась к техникуму, а впоследствии стала институтом. Здесь было благополучнее в смысле порядка и учебного плана, но были и свои крупные недостатки, мешавшие получению подлинных знаний.

Мастерство актера преподавал бывший артист Московского Художественного театра Александр Иванович Адашев, интеллигентный, красивый старик с молодым розовым лицом и белоснежной шевелюрой, всегда тщательно, элегантно одетый. Он внушал поначалу наше восторженное уважение. Мы ждали от

него многого. Но увы! Надежды наши не оправдались. Поделись он с нами опытом работы

Художественного театра, это стало бы основой, крепким фундаментом для всей дальнейшей нашей творческой жизни, но нет – Адашев, по-видимому, боясь показаться устаревшим, принялся насаждать модную в то время биомеханику. Мы видели, мы понимали, что это придумано им, что это не его творческая позиция, да признаться, и очень неумело, нелепо он это делал, но пришлось подчиняться его требованиям и на занятиях, инсценируя басни Крылова, в самых неподобающих местах делать по его настоянию стойки и всевозможные акробатические трюки. Адашев лгал нам, мы лгали ему. А тут, в конце учебного года, примешался еще один, весьма неблаговидный поступок Адашева, и мы устроили «революцию»: пошли всем курсом в дирекцию и отказались на будущий год заниматься с этим порочным стариком.

Второй курс начался уже без Адашева. Вспоминаю с чувством большой признательности Сергея Николаевича Жданова, у которого я училась на двух последующих курсах. Он преподавал дикцию, орфоэпию, художественное чтение и одно время – мастерство актера. Обаятельный человек, увлекающийся педагог, он щедро отдавал нам весь свой опыт. И если его преподавание не было вооружено новейшим методом и передовыми идеями ведущих театров страны, то отсутствие этого компенсировалось его увлеченностью, темпераментом, умением нас расшевелить, раскрыть наши эмоции, разбудить творческую природу. На его занятия я шла как на праздник и многое сумела постигнуть для своей

будущей профессии драматической актрисы. Сергей Николаевич верил в мои способности и давал мне полную творческую свободу.

Сохранился мой матрикул Русских Драматических курсов (за № 58). В нем перечень педагогов. Поначалу наш директор, предприимчивый Марсель Павлович Городисский, решительно ринулся читать нам лекции по политэкономии, по учению о государстве и даже… по истории искусств. По своей профессии он был юристом и вряд ли имел право так много брать на себя как педагог. Но… как говорится, «своя рука – владыка», и мы терпели его примитивные высказывания об искусстве. К счастью, он недолго испытывал наше терпение и уступил место более эрудированным педагогам.

Так, энциклопедию театра стали читать и Гаевский, и Чаговец, и Перлин, историю литературы – Чаговец, историю пластичности искусств – Иноземцев, историю классической борьбы – Цейтлин. На третьем курсе новые театральные направления читал нам Ю. В. Соболев, с которым впоследствии я встретилась в МХАТе 2-м. Физкультуру преподавал – Юцевич, ритмо-пластику – Ясинская, грим – Сандрич, танец – Ланге. На последнем курсе в состав педагогов вошел Вл. Пл. Кожич. Его дисциплина называлась постановка. Жданов же до конца вел постановку голоса, художественное чтение и практику сцены. О братьях Иване Платоновиче Чужом и Владимире Платоновиче Кожиче, хочется вспомнить полнее, т. к. это были высокоодаренные актеры и педагоги, впервые открывшие мне элементы системы К. С. Станиславского. Старший из братьев – Иван Платонович Чужой был в молодости в первой студии

МХАТ, называли его там «Чудик», как вспоминала Лидия Ивановна Дейкун. На наших курсах он вел мастерство в параллельной группе, в группе Неделина, так что я с ним не работала. По отзывам, занятия он вел очень интересно, очень серьезно. Сам был чрезвычайно сухощав, оказывается, болел туберкулезом, говорил тихо, был сдержан в обращении с окружающими, изящен в движениях. Да и глаз у него был один искусственный… значит, актером уже быть не мог.

Владимир же Платонович был полной противоположностью своего брата. Увлекающийся, шумный, порой резкий, с красивым цыганского типа лицом и курчавыми темными волосами. Он насыщал наши занятия темпераментом, требовал от нас правдивой яркости. Мне предложил работать над ролью Ио в «Гибели надежды» Иерманса. Роль начиналась безудержным смехом Ио, а я смеяться по заказу не умела. Вместо смеха чуть не плакала от смущения и досады, но каким-то образом Владимир Платонович мне помог, и я вдруг звонко засмеялась. Так я и считаю, что смеяться меня научил Кожич. Еще требовал он от меня, чтобы я тренировала свою походку, мягко ступала, не делала больших шагов.

Все это было чрезвычайно полезно, но самое главное то, что Кожич так же, как и его брат – Чужой, исповедовал систему работы Художественного театра. От Владимира Платоновича я узнала, что такое общение, видение, что такое сценическая задача. В помощь интуиции и случайным эмоциям Кожич предложил мне сознательный анализ и элементы постепенного создания сценического образа. В работе с ним мне открылся новый мир, доселе неведомый. Я

подвергла тщательному пересмотру все то, что делала на сцене до встречи с Кожичем. Дело в том, что, будучи еще на втором курсе студии, а именно в сентябре 1925 года, я вошла в состав участников живой газеты Центростиля, под названием «Радиорупор». Совершенно не помню, с чего это началось. По-видимому, организатор и руководитель живой газеты Израил Цезаревич Градов появился у нас на курсах и предложил нам это дело. В то время в Москве прославилась «Синяя блуза», и вслед за ней по всей стране стали возникать, как грибы после дождя, эти агитационные, сценические коллективы. Как понимаю, наши выступления были довольно примитивны, но известная польза все-таки была – в этих массовых действиях развивалась наша организованность, известная сценичность, владение собой перед публикой. Развивался голос, речь, пластичность. Выступали мы во всевозможных клубах.

Около 150 раз мы демонстрировали свою живую газету и побывали с ней на многих, иной раз весьма солидных сценах. За участие в живой газете мне не было стыдно, а вот то, что я во время летних каникул в 1926 году связалась с халтурой – это меня очень мучило. Коллективом этих заядлых халтурщиков руководил И. Я. Бредов. Поистине можно было, учитывая его фамилию, назвать эту халтуру «бредовой». Мне очень были нужны деньги, и вдруг студентка старшего курса предлагает мне прилично заработать, я с радостью соглашаюсь, не имея никакого представления, во что это предложение выльется.

В течение августа месяца мне пришлось сыграть героинь в таких пьесах, как «Овод», «Эуген

несчастный», «Певец печали» и «За океаном». На каждую пьесу, в лучшем случае, давалось три репетиции. Тексты я зубрила ночами, проклиная себя за согласие участвовать в этом недостойном, грязном деле. И. Я. Бредов был очень доволен мною, но не обошлось и без срывов. Пьесу «За океаном», где я играла младшую из сестер, репетировали так мало, что, когда начался спектакль, мы стали бродить по сцене как лунатики, перепутав действие и выходы. Кульминация наступила тогда, когда я в полной растерянности и беспамятстве назвала своим собственным именем свою сестру. Не помню, засмеялась ли публика, но Бредов, сидевший в суфлерской будке, зловещим шепотом выругал меня, кажется, идиоткой, после чего, заливаясь горькими слезами, я категорически отказалась участвовать в этом халтурном коллективе.

Действительно, слишком дорогой ценой пришлось расплачиваться за подобный заработок. Очень мне было стыдно. Но самое неожиданное заключается в том, что, случайно встретившись через несколько лет с одним из зрителей, который видел меня в спектакле «Эуген несчастный», я услышала от него, какое сильное, неизгладимое впечатление произвела на него я исполнением роли жены этого Эугена! Бывает же такое! Наивный, малотребовательный зритель! А впрочем, в те годы зритель действительно был более отзывчив: не было телевидения да и радио только-только начинало функционировать.

С Владимиром Платоновичем я сделала роль Ио, а также Лизи (или Лицци), в «Потопе» Бергера Дело в том, что, уверовав в мои способности, Кожич предложил мне выступить актрисой в Театре

студийных постановок, который недавно получил право на существование и возглавлялся И. П. Чужим. Мое приглашение было согласовано с дирекцией студии. Считалось, что, будучи на последнем курсе студии, я прохожу практику сценического мастерства в Театре студийных постановок. Таким образом, я была освобождена от обязательного участия в массовках спектаклей театра Русской драмы. Меня это вполне устраивало. Наряду с двумя прекрасными ролями Ио и Лизи я продолжала выступать и в живой газете, так что была предельно занята. В школе же к выпускным экзаменам готовила несколько отрывков из «Укрощения строптивой» Шекспира, жила полной творческой жизнью, была счастлива каждым днем!

В свободные вечера шла к Брянцевым. Какая это была очаровательная семья! Корнилин Васильевич Брянцев был знаменитым глазным врачом. Всегда приветливый, моложавый, он изредка появлялся в нашей молодой компании. Его жена – красивая, полнеющая Вера Александровна, с неизменной папироской у рта, тоже не навязывала нам своего присутствия. Квартиру они занимали большую, в доме напротив Владимирского собора по тихой Гимназической улице, всей их семье хватало места. Дети – Муся, Виктор и Таня были моими большими друзьями.

Какие это были прекрасные, неповторимые вечера! Сам по себе летний вечер в Киеве в пору цветения каштанов необычайно хорош. Воздух мягкий, ароматный, дышится легко, торжественно возникают в темной зелени свечи… нет, даже не свечи, а целые канделябры свечей! – так воспринимается мною пышное, щедрое цветение этих замечательных южных

каштанов. Их целая аллея по обеим сторонам неширокой Гимназической улицы. Направо – темная громада Владимирского собора, налево – из открытых окон льется обильный свет, доносится чарующая музыка рояля и веселый говор молодых голосов. Это звучание семьи Брянцевых наполняет меня радостью. Я и сейчас слышу, слышу эти голоса, эту музыку и всем существованием ощущаю благодатный, теплый киевский вечер.

Сейчас, когда мне идет 74-й год, сами собой напрашиваются строки Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы...» Да! Вот такая аналогия! В их доме всегда было полно молодежи, главным образом юношей – товарищей Виктора. В этой компании я была единственной будущей актрисой, и потому меня иногда просили прочесть стихи Есенина или Ахматовой. Танечка же прекрасно играла на рояле. Сейчас от этой семьи остались только Муся и ее муж Валя Оболенский. Общаемся мы редко. В Москве жизнь меняется. Это закономерно.

Август 1927 года приносит громадные перемены в мою жизнь: моя соученица по театральной школе Мура Аронович неожиданно предлагает мне съездить с ней в Москву. В дачной местности под Москвой на станции Салтыковка живут родители ее мужа и зовут ее погостить к ним. Боясь соскучиться со стариками, она предлагает мне присоединиться к своему путешествию. Едем.

И вот я в Москве. Таинственная Москва, где когда-то жил и работал мой отец, где в раннем детстве жила с родителями и я. Москва, о которой я тогда могла только мечтать как о чем-то заманчивом, вдруг стала

реальностью. Она ошеломила меня стремительным ритмом своей жизни, потом втянула в водоворот новых, ярких впечатлений и стала мне необходима как воздух. Милый, уютный, такой провинциально-спокойный Киев уходил безвозвратно в прошлое, а Москва заполняла все мои мысли, чувства, все мое воображение.

Давно было надо мне вернуться в Киев, – там обеспечено место актрисы в театре Русской драмы, давно уехала туда сама Мура, а я все еще оставалась на месте, очарованная Москвой, не в силах с ней расстаться. Упорное желание жить и работать только в Москве целиком овладело мною. Со дня на день я ждала возвращения из отпуска А. А. Яблочкиной, чтобы встретиться с ней, напомнить о моем отце, просить ее содействовать в моем поступлении в Малый театр. Иных путей у меня не было. Но, как на грех, Яблочкина все не возвращалась. Я очень переживала, что вынуждена стеснять своими ночевками, в сущности, совсем посторонних мне людей, какими были родственники Муры, но у меня не было иного выхода. Воображаю, как я им надоела! Я уезжала от них рано утром и целый день проводила в Москве. Питалась скудно, как попало, в городе. Тратила буквально гроши, но тем не менее и они начали приходить к концу, оставалась только неприкосновенная сумма на обратный билет в Киев.

И вот в один прекрасный день только эта сумма и была в наличии. Трудно и горько было мне согласиться на полный провал моих планов, но пришлось. С камнем на сердце я шла через площадь Революции, чтобы купить билет на Киев. И вдруг столкнулась с Владимиром Николаевичем Луниным. Оказывается, он

жил в Москве и работал художником в кинотеатре, который в ту пору находился на месте нынешней гостиницы «Москва». Кажется, если не ошибаюсь, он тогда назывался «Зеркальным», как раз громадные его плакаты работы Владимира Николаевича смотрели прямо на Музей им. Ленина. Из этого кинотеатра и вышел Лунин, его послала мне прямо судьба! «Почему вы такая грустная?» – спросил он меня. Я рассказала ему мои обстоятельства. Владимир Николаевич внимательно выслушал меня и заявил, что ни в коем случае я не должна сдаваться. «Потерпите еще несколько дней, и все уладится», – обнадежил он меня. Деликатно и мило он предложил мне в долг небольшую сумму денег, которая помогла мне продержаться, а также дал адрес Федора Николаевича Каверина, вернее, его театра студии Малого театра.

Я пошла на Сретенку в этот театр. Федор Николаевич хорошо меня принял. Он был учеником моего отца, очень любил его и считал даже его своим «духовным отцом». Так как конкурс по приему новых актеров в его театр уже прошел первый тур, то мне Федор Николаевич предложил появиться на втором туре. Затем он спросил, не знакома ли я с О. С. Щербиновской, я замялась, рассказала ему откровенно о своих колебаниях, но он рассеял их, заявив, что все это лишнее, а для дела надо, чтобы я повидалась с ней. Его рассуждения показались мне убедительными, и я, окрыленная его советами и участием в моей судьбе, с легким сердцем отправилась прямо на Поварскую улицу, дом № 26 (ныне Воровского).

Вот тут и произошло мое знакомство с О. С. Щербиновской. На мой звонок открыла дверь она сама.

Узнав, кто я, она испугалась, заметно побледнела. Ее неприветливое, лишенное привлекательности лицо вдруг стало напряженным и серым. Удивительно, что мое появление так подействовало на эту женщину. Она застыла на пороге своей квартиры, потом пригласила меня войти. Говорили мало. Она задала мне несколько вопросов, я односложно на них ответила. Контакт между нами не устанавливался. И тут – как бы в помощь нам – в столовую вошла ее мать Елизавета Ивановна, старая женщина с ласковой улыбкой. Ее присутствие рассеяло нашу скованность, и общий разговор стал проще и свободнее. Мне было предложено временно поселиться у них. Я, естественно, с благодарностью согласилась. Деваться ведь было некуда! Съездила в Салтыковку, простилась с гостеприимными стариками и перебралась на Поварскую улицу. Спала в столовой, на диванчике, под легким пуховым одеялом.

Дня через два вернулся из Балаклавы муж Ольги Сергеевны – Борис Андреевич Пильняк. Он, как писатель, интересовался работами по подъему со дна моря затонувшего давным-давно корабля «Черный принц». Пильняку в ту пору было всего 33 года, мне же он казался весьма пожилым человеком. Довольно грузный, шумный, с лицом, похожим на морду добродушного льва, какой-то весь рыжий, кстати, и меховая шуба была у него пушистая, рыжая, и брови такие же, и голова, да, кажется, и глаза с рыжинкой. Стремительный, непоседливый, общительный, он сразу внес живую тональность в холодную, застывшую атмосферу дома. Узнав мои обстоятельства, тут же стал хлопотать и строить планы, как мне помочь. Словом, произвел на меня благоприятное впечатление.

По контрасту с замкнутой, суховатой Ольгой Сергеевной, он сразу же завоевал мое доброе к нему расположение. В ближайшие дни Борис Андреевич повез меня к В. И. Качалову. Мы с ним вошли во двор МХАТа, поднялись на второй этаж маленького дома, и я увидела величественную фигуру Качалова! Смешно я в ту пору воспринимала возраст окружающих! Едва ли Качалову тогда было больше 50 лет, а мне он показался стариком!

Помню, Василий Иванович угощал нас чаем. Он оживленно беседовал с Пильняком, я же помалкивала и умирала от жары. Дело в том, что я надела для этого визита свою новую маленькую черную шляпку из фетра, которая мне очень шла, но оказалась слишком теплой для августа месяца и для довольно душной квартиры Качалова. У меня текли струи пота за ушами, но я не решилась снять шляпку, считая ее уместной для кратковременного визита. Качалов обещал поговорить с К. С. Станиславским и хотел послушать мое чтение, для этого предполагалась в ближайшие дни моя вторая встреча с Василием Ивановичем.

А тут вернулась в Москву и Яблочкина. К ней меня повезла Ольга Сергеевна. Помню дряхлую старуху – Александру Александровну (в то время она уже была действительно стара). Сидела она в кресле, а Ольга Сергеевна как-то очень заискивала, суетилась перед ней, делала какие-то реверансы, много улыбалась, словом, неузнаваемо перевоплотилась. По-видимому, это был стиль взаимоотношений молодежи со стариками Малого театра. Впрочем, Ольге Сергеевне было тогда под 40 лет, и сама она казалась мне далеко не молодой. Я придирчиво следила за ней и осудила ее подхалимство. Все мне не нравилось в Щербиновской,

решительно все! А уж это лицемерие, «пританцовывание» возле Яблочкиной и подавно! Вспомнила ли Яблочкина моего отца или только сделала вид, что вспомнила, но, во всяком случае, она пролепетала: «Ах, Ванечка, как же, помню, помню, помню...» – и тоже что-то обещала для меня.

А затем Борис Андреевич повез меня во 2-й МХАТ. Мы сидели у окна в гардеробе актерского подъезда на Б. Дмитровке. К нам вышли Б. М. Сушкевич, М. А. Чехов и И. И. Берсенев. За 15 минут судьба моя была решена. Я им понравилась, и меня безоговорочно, без какой-либо проверки приняли в состав этого замечательного театра. Помимо авторитета Пильняка, сыграло свою роль и то обстоятельство, что из театра недавно вместе с Алексеем Денисовичем Диким ушла группа молодежи. Я не была лишней.

Известный советский писатель Борис Андреевич Пильняк, женатый на бывшей супруге Ивана Вишневского, актрисе Малого театра Ольге Щербиновской.

Он помог Леночке Вишневской, прибывшей из Киева в поисках работы, устроиться во 2-й МХАТ.

МОСКОВСКИЙ
Художественный Академический
ТЕАТР 2-й

"22" Сентября 1927 г.
№ 629.

Удостоверение:

Выдано настоящее удостоверение в том, что предъявитель сего ВИШНЕВСКАЯ Елена Ивановна.
действительно состоит на службе в Государственном Академическом Московском Художественном театре 2-ом в должности сотрудницы с 15-го Сентября 1927 года.

ПОМ. ДИРЕКТОРА: /Берсенев/
Секретарь: /Аристова/

ТЕАТР 2-ОЙ

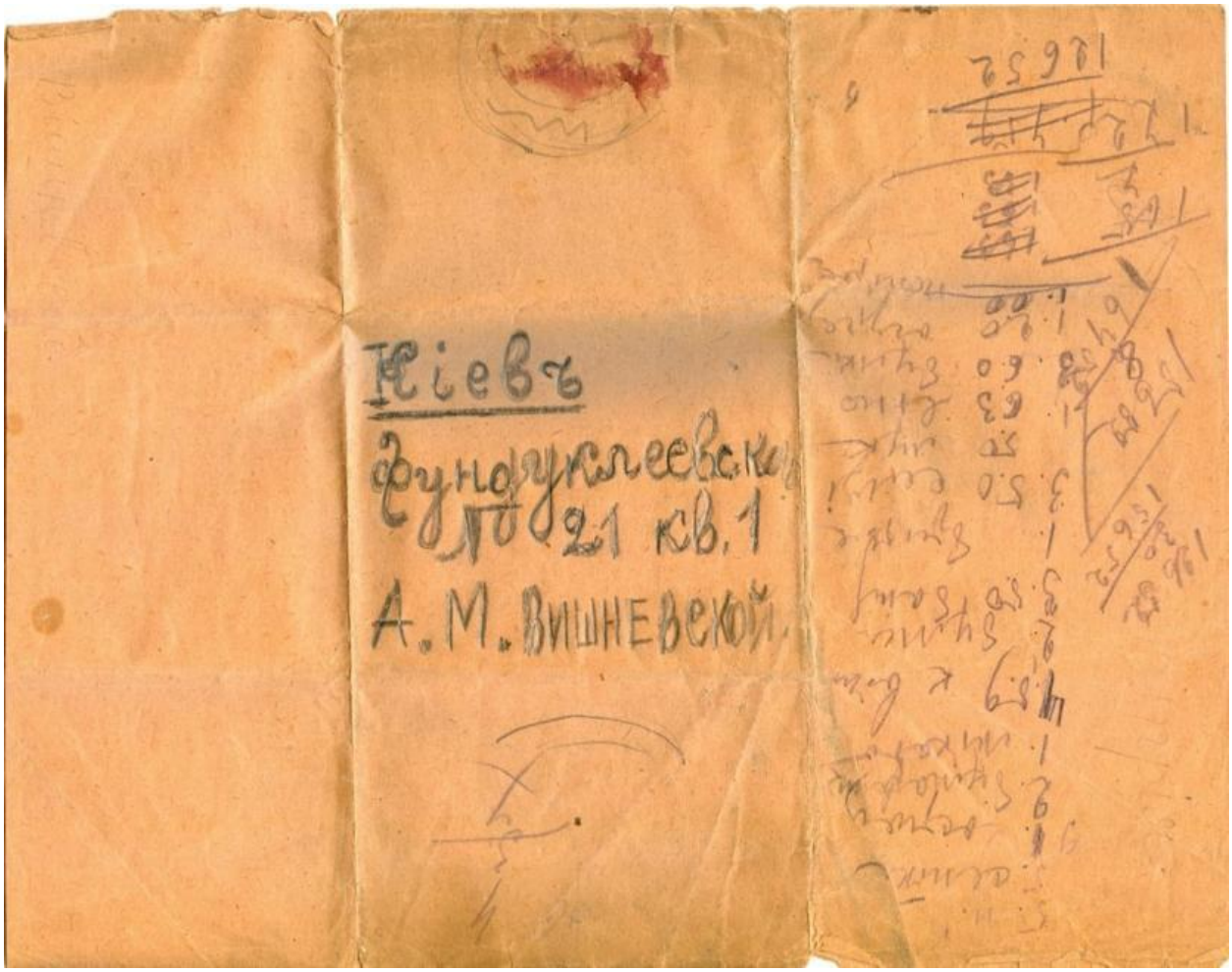
Удостоверение службы во МХАТ-2.

Надо ехать в Киев за вещами. Но где в Москве мне жить? И тут помогает все тот же всесильный Пильняк. В Трубниковском переулке, что рядом с Поварской, в старом домике он договаривается с молодым писателем Савкиным. Тот обещает предоставить мне небольшую отдельную комнату в своей коммунальной квартире. Счастливая, ликующая, я еду в Киев. Как легко в молодости прощаться, порывать с привязанностями, как влекут неожиданные перемены и как захватывающе интересны они!

Прощаюсь с любимой, кроткой моей мамочкой, с милыми друзьями, прощаюсь с нелепым, неудачным моим мужем Бэром, так фактически и не ставшим моим мужем, издергавшим мою нервную систему и чуть не искалечившим молодую мою женскую натуру

своей мужской неполноценностью. Ах, как гадок стал он мне, как измучил меня и с каким облегчением я уезжала от него навсегда – чтобы вычеркнуть из памяти все томительные, бессонные ночи там, в его душной квартире на Подоле, когда тревожно и так тоскливо выла на Днепре сирена, а этот крупный мужчина лил надо мной слезы своего бессилия.

Прощайте, прощайте все плохие и хорошие дни моей юности, я еду в новую жизнь!



Письмо Елены Ивановны матери в Киев.

Как-то так получилось, само собой, что, живя у Пильняков, благодаря вниманию ко мне Бориса Андреевича, у меня с ним образовалась дружеская

связь, а Ольга Сергеевна все дальше и дальше отходила от меня. Он любил гулять со мной, искал эту возможность, а часто откровенно бросался сопровождать меня, если я собиралась уходить. За это он получал от своей жены резкие, ревнивые замечания. Так и слышу ее ноющий голос: «Борис, тебе же совсем в другую сторону надо идти!»

Эти одергивания Ольги Сергеевны еще больше укрепляли нашу дружбу. Не сговариваясь друг с другом, мы стремились избежать домашних конфликтов на эту тему и стали вуалировать наше удовольствие быть вместе. Таким образом, у нас образовалась какая-то маленькая тайна. Я не видела ничего дурного в подобном положении. Для меня Пильняк был вроде доброго, обаятельного дядюшки. Он назвал меня своей «падчерицей» и так и представлял меня своим знакомым, произнося это с оттенком нескрываемой гордости. Мне льстило его доброе покровительство. Популярный писатель, интересный собеседник – словом, значительная личность, и так заинтересован общением со мной! Конечно же, я гордилась его отношением ко мне и очень уважала его. Мне казался таким естественным его интерес к 20-летней «падчерице», в то время как его жена дулась, нервничала и этим еще больше теряла свое и без того не слишком большое, по моему мнению, обаяние.

Из Киева я привезла громадную, вроде сундука, корзину с крышкой и висячим на ней замком. Поистине провинциальный предмет! В нее было уложено все мое добро. Сейчас подобных корзин нигде не увидишь, разве только что в музее, как экспонат старого быта. Небезоблачно началось мое возвращение в Москву. В предназначенную мне

комнату меня не пустили. Савкин бормотал, что все уладит, но его мамаша, зловещая деревенская старуха, ходила надутая и непреклонная. Это была ее комната. Мне постелили тюфяк на полу в столовой. Протестовать я не любила, посвящать Пильняка в эти неполадки постеснялась. Через два дня приехала из Киева моя соученица Наташа Мельникова. Спали вдвоем на полу. Вскоре пропало мое дорогое бриллиантовое колечко – подарок матери Вэра. Я забыла его в ванной, туда после меня зашла Наташа. Кольцо исчезло. Впоследствии от этой моей «приятельницы» я видела столько омерзительных поступков, что, без сомнения, кольцо было ею украдено. Словом, начались у меня разные неприятности. Спать на полу было холодно. В начале сентября воздух в Москве острый, какой-то колющий – совсем не такой, как в моем родном Киеве.

Одна из актрис МХАТа 2-го помогла мне снять угол на Арбате у знакомых стариков. Если я возвращалась домой поздно, надо было без шума пересечь первую комнату, затем, держа туфли в руках, пройти неслышно через вторую мимо спящего старика в полной темноте и, наконец, проникнуть в свой уголок за тесно стоявшими шкафами. Старик, просыпаясь, долго кашлял, курил, это не давало мне спокойно заснуть, но все же у меня была кое-какая кровать, небольшой стол, на котором уютно располагалась дедушкина лампа и большая его граненная чернильница, стул занимал скупое свободное место между кроватью и столом, а также было окно, на подоконнике которого помещались разные мелочи.

Когда свободными вечерами я писала письма мамочке, то иногда слышала далекие гудки поездов Киевского

вокзала, и мне делалось немного грустно и тревожно. Я оторвалась от всего привычного и жила самостоятельно в полном одиночестве так далеко от Киева. Что ждет меня впереди?

На Поварскую я ходила теперь очень редко, была увлечена театром, появились новые дружеские связи. Однажды нашла у себя на столе записку, заходил Пильняк. «Елена, приходите. Ждем Вас завтра на пироги». В другой раз была книга его сочинений с многозначительной надписью: «Елене, милой – в память зимних весен». Наступила зима. Моя двоюродная сестра Наташа прислала мне зимнее пальто, которое казалось мне верхом красоты. Оно было горохового цвета, без мехового воротника, но на шелковой подкладке, а главное, теплое. Это мое первое зимнее пальто приличного вида! Я ведь так была неизбалованна! Борис Андреевич надел свою рыжую меховую шубу, и если мы с ним гуляли, то всегда брал мою руку, засовывал ее вместе со своей рукой в пушистый карман шубы и вел меня, как свою любимую «дочь», по улицам Москвы, весело рассказывая мне что-нибудь интересное.

А иногда даже возил меня в санях на извозчике. Это было громадное для меня удовольствие! Это баловало меня. Но наступил день, когда мне пришлось распрощаться со всем этим «баловством». В один из вечеров, когда мы гуляли с ним вдоль Москвы-реки, он неожиданно резко повернул меня к себе и поцеловал в губы! Помню свою реакцию на это. Я не взволновалась, а как-то выросла в собственном мнении, а Борис Андреевич стал меньше. Этот поцелуй будто бы что-то отнял от моего уважения к Пильняку. Из моего отношения к нему теперь исчезли

непосредственность и безграничное доверие. С этого дня я стала избегать встреч с ним, а он, напротив, все нетерпеливее искал меня и начал совершать непростительные бестактности. Добрый «дядюшка» превратился в банального «кавалера». Однажды, стремясь достичь преследуемой им цели, он рассказал мне, будто бы видел во сне, что я, желая отомстить Ольге Сергеевне за маму, сошлась с ним. Я восприняла этот рассказ как пошлую провокацию. В самом деле, как неблагородно было рассчитывать, что меня можно подтолкнуть на близость с ним, расшевелив какие-то низменные мои эмоции! Мне это было чуждо и оскорбительно. Затем, как-то гуляя со мной одним днем, он по дороге сказал мне: «Зайдем на минутку к моему знакомому». Зашли, но знакомый сразу же деловито оставил нас вдвоем в полупустой комнате с диваном, а сам удалился. Ничего себе ситуация! Тут же оказалась бутылка вина и шоколад. Значит, все было заранее договорено. Я очень обиделась, впервые резко поговорила с Борисом Андреевичем и долго не появлялась на Поварской.

Однако со временем обида сгладилась, и, когда я вновь встретилась с Пильняком, он был очень сердечный, очень приветливый и даже слегка смущенный, как будто раскаивался в своих поступках. Поэтому, когда он предложил поехать с ним на один день в Тарусу к писателю Павленко, я согласилась. Поездка была чудесная! Сперва поездом в теплом купе вагона, а потом по снегам на розвальнях, укрытых овчинами. По дороге много смеялись, настроение было беззаботное, веселое. В бревенчатом, крепко сколоченном, на редкость уютном доме Павленко мы были радушно встречены им и его женой. Оживленно

поужинали с вином и вкусными закусками, после мороза застолье было необычно приятно. Пильняк и Павленко без конца острили, соперничая друг с другом и заставляя нас – своих дам, безудержно смеяться. Вечер прошел на редкость удачно.

Затем Борис Андреевич повел меня ночевать в какую-то избушку. Я думала, что мне будет предоставлена отдельная комната. Ничуть не бывало! План моего «благодетеля» был коварнее, но выручило меня то, что он сильно перебрал вина и мгновенно заснул, богатырски храпя. Я приютилась по соседству с ним на каком-то топчане, жестом и неудобном, и тоже благополучно выспалась. Утром мы появились у Павленко, завтракали, сопровождаемые их испытующими взглядами. Видно было, что они жалели меня, посчитав очередной «жертвой» опытного донжуана. Мне было весело, хорошо на душе. Смешили их подозрения, не имевшие никаких реальных оснований. Очень была я тогда «рисковая», смелая девица! А между тем со стороны этот эпизод выглядел, по-видимому, далеко не так привлекательно, и пора мне было образумиться и понять, что нельзя быть такой легкомысленной и свободной от предрассудков, могут быть и последствия.

Елене, на хоть какую
память.
О времени которое не
было ни днем ни ночью
но которое было — всем...
П. Ерш
15 января
1928 г.

Второй муж Елены Вишневской, художник и режиссер Павел Ермилов, отец Кати.

К весне 1928 года Пильняки переехали с Поварской в коттедж на одну из улиц Ямского поля, что вблизи Ленинградском проспекте. Я не появлялась у них несколько месяцев. За это время в мою одинокую жизнь настойчиво стал входить молодой помреж театра Павел Дмитриевич Ермилов. Это был энергичный человек, вышедший из рабочей семьи тульского оружейного завода. Его тяга к образованию была феноменальной. Преодолев многие лишения и трудности, он самостоятельно достиг таких результатов, что стал вполне интеллигентным, значительным человеком. Это хороший пример некоторым молодым людям, совершающим свои рекордные подвиги только в пьянстве. Ко мне он проявил острый интерес и так меня заговорил, что я вдруг совершенно неожиданно не только для окружающих, но даже для самой себя – стала его женой.

МХАТ-2. Павел Ермилов в верхнем ряду третий слева, Елена Вишневская в нижнем ряду крайняя справа.

Елена Вишневская, Павел Ермилов, Александра Вишневская.

Брак наш мы официально не регистрировали, в то время это было необязательно. Кажется, на Ямском поле я впервые появилась именно вместе с Павлом. Он знал от меня о притязаниях Пильняка и, видимо, побоялся пустить туда меня одну. Ольга Сергеевна очень оживилась, узнав, что Павел мой муж. Борис Андреевич был несколько напряжен, так же как и Павел. 'Помню маленькую неловкость: Павел, желая казаться непринужденным, сказал Борису Андреевичу: «Садитесь, пожалуйста!» А Пильняк, снисходительно иронизируя, пробурчал: «Да, в сущности, я у себя дома». Конечно же, скороспелая интеллигентность

Павла давала часто подобные осечки! Это было неизбежно!

Новая квартира Пильняков была похожа на комфортабельную дачу – стены и полы дощатые, на полах всюду ковры. В кабинете длинные шкафы, тесно заполненные книгами. Через стекла на корешках многих из них я прочитала золотое тиснение – И. Г. Вишневский. Это были книги моего отца! Однажды Павел показал мне старинный журнал «Среди коллекционеров», где был помещен некролог о моем отце, как об одном из наиболее крупных библиофилов Москвы.

11-месячная Катя Вишневская на плечах у отца – Павла Ермилова.

Всей квартиры я не видела здесь, так же как и на Поварской. Как-то в то время не было современной моды рассматривать квартиры хозяев, как залы музея. Завели Пильняки собаку. Это была громадная индийская самка дога, пятнистая и смирная, по кличке Айда. Бывала я у них редко. Иногда заставала в гостях иностранцев. В частности, гостил у них японский писатель Ку-рода-сан, которому на воспитание они отдали в Японию сироту – маленького племянника Ольги Сергеевны Тотошку. Мне было его очень жалко.

От этой семьи я постепенно отходила все дальше и дальше. У меня началась собственная личная жизнь. А когда чуть ли не через два года я получила в театре записку от Ольги Сергеевны такого содержания: «Слишком поздно, но я узнала правду. Прошу Вас больше не бывать в нашем доме», я, конечно, тут же помчалась на Ямское поле, чтобы объяснить истинное положение вещей. Мне казалось, что легко доказать отсутствие серьезной моей вины, но не тут-то было! Факты были против меня! Я перенесла унизительный разговор с Ольгой Сергеевной, даже заплакала от бессилия разубедить ее, но поняла, что это невозможно. Ольга Сергеевна проговорилась, что Борис Андреевич много ей изменял, и даже, с ее слов, когда сажал на свои колени 12-летнею ее племянницу Танечку, то относился к ней не как к девочке…

ИЗЪ
И·Г·ВИШНЕВСКАГО·
КНИГЪ

Экслибрис актера Малого театра и известного библиофила Ивана Гавриловича Вишневского, отца Елены.

Что-то вымученное, истеричное было в этом признании. Кроме того, как же ей было поверить в мою непогрешимость, если она сама в молодости не воздержалась разлучить мою мать с отцом! Не могла я сказать ей, что Борис Андреевич никогда не мог мне понравиться, что он стар, чудаковат, некрасив, что я относилась к нему с симпатией только как к человеку, проявившему заботу обо мне. Да ведь этим не убедить ревнивую жену! Во время нашего разговора Борис Андреевич был дома, но, как напроказивший кот, спрятался, не показывался. Он имел возможность внести ясность, поддержать меня и успокоить Ольгу Сергеевну, но, очевидно, настолько вышел у нее из доверия, что остался в стороне. А может быть, он сам «подлил масла в огонь»? Мне кто-то из более опытных, чем была я, женщин, объяснил потом, что иной раз, чтобы не уронить свое достоинство, мужчина, потерпевший от женщины поражение, может в этом и не сознаться, а говорить, что одержал победу. Ведь сказала же мне Ольга Сергеевна: «А почему Вы думаете, что не от Бориса Андреевича я узнала о Вашей с ним близости?»

Ушла я оттуда с ощущением чего-то липкого, отвратительного, нездорового и, разумеется, перестала бывать в их доме. И кстати! Скоро много бед обрушилось на них. Умерла Елизавета Ивановна, разошелся Пильняк с Ольгой Сергеевной, а в роковом 1937 году он был арестован и погиб в возрасте 40-х лет. Трагическая судьба!

Ольга Сергеевна успела похоронить и нового своего мужа, актера Малого театра, который страдал запоями и в белой горячке выбросился из окна. Затем она несколько позже отправлена была в изгнание как бывшая жена Пильняка. Там пробыла она много тяжелых лет и только в 70-х годах совсем уже дряхлой старухой оказалась в Доме ветеранов сцены. Меня привезла к ней, по ее просьбе, двоюродная сестра Пильняка. Без нее мы, конечно, не узнали бы друг друга. Ольга Сергеевна была полуслепая, плохо слышала, но расспрашивала меня о моей жизни, я рассказывала ей о самой тяжелой полосе – военной, а Ольга Сергеевна… ну я ни о чем ее не расспрашивала. И так все было понятно. Прощаясь, она подарила мне любимую статуэтку моего отца, как она сказала. Это была чудесная фарфоровая группа из сакса – маркиз, целующий маркизе руку, затем портрет моей дальней родственницы (тоже Елены Ивановны), писанный маслом, на медной пластинке в старинной очаровательной, левкасовой рамке, а также несколько фотографий моего отца. По-видимому, пережив много горя, Ольга Сергеевна стала сердечнее относиться к людям!

Сакс и портрет я продала за хорошие деньги, когда мы строили дачу и нуждались в дополнительных средствах. Дачу построили, а она через два года сгорела! Таковы парадоксы жизни!

Сейчас я сама живу в Доме ветеранов сцены, а Ольга Сергеевна уже несколько лет как умерла. От кузины Пильняка я узнала, что Тотошка получил блестящее образование в Японии, вернулся на родину, но живет где-то вне Москвы, на задворках и не может применить с пользой своих знаний. Не знаю, каково его

положение сейчас. Где-то в Москве живет брат Ольги Сергеевны – Юра, племянница Таня и еще кто-то. Никакой связи с остатками этой семьи я не держу, я для них чужой, случайный человек, они для меня тоже чужие. Как обычно, в памяти остаются наиболее счастливые, светлые воспоминания, а тяжелые тускнеют.

Сожалею, что сожгла все подаренные мне Пильняком книги с его надписями. Парализованная бесчинствами врагов народа в 1936–1937 годах, я поддалась общей панике и бросила в печь все, что сейчас было бы библиографической редкостью и напоминало бы мне о светлых днях моей новой, московской жизни.

Мне выпало большое счастье начинать творческую жизнь в лучшем из театров Москвы. В театре, где блистал непревзойденный гений великого артиста – Михаила Александровича Чехова, в ярком созвездии его товарищей по искусству, талантливых мастеров сцены: Берсенева, Гиацинтовой, Чебана, Бирман, Дурасовой, Готовцева, Дейкун и многих других. Их высокое служение Театру всегда было для меня примером. Это были яркие актерские индивидуальности. В 1927 году им было по 30–35 лет. Коллектив полноценного творческого возраста. Каждый из них удивлял, восторгал неожиданностью творческих находок, способностью неузнаваемо перевоплощаться.

Корифеи МХАТА 2-го (1924–1928 гг.): М. А. Чехов, В. Н. Татаринов, С. Г. Бирман, В. В. Готовцев, С. В. Попов, А. И. Чебан.

Удивительная атмосфера царила в повседневной жизни 2-го МХАТа.

Не было в ней никакой ложной аффектации, наигранной бодрости, внешней «картинности», т. е. всего того фальшивого, крикливого, что я наблюдала в поведении актеров провинциального киевского театра, актеров Русской драмы или на так называемой «актерской бирже», с которой я случайно впоследствии познакомилась. Здесь и в помине не было всей этой пошлости, да и быть не могло! Я видела серьезных, глубоко интеллигентных людей, занятых задачами большого искусства, воспитанных в идеальных традициях Художественного театра.

Доброжелательность, внимание друг к другу, изысканная вежливость, творческая взаимопомощь – вот что я увидела и что меня

покорило раз и навсегда. Я буквально влюбилась во всех своих старших товарищей. Это была как бы одна большая семья кровно спаянных людей. К молодежи у старших было тоже внимательное, участливое отношение. Я очень быстро отогрелась душой в этом театре и жила в нем с ощущением громадного счастья, как в своем родном, любимом доме. Я до сих пор считаю, что 2-й МХАТ по характеру внутренней, так сказать, «закулисной» жизни был театром особенным. Дух справедливого демократизма, братства, равенства в правах, мне думается, ни в одном из театров не был так силен, как здесь. Да и в самом деле, что представляли из себя другие театры?

Малый театр закостенел в сценических традициях, доходящих до штампов, в чинопочитании, в борьбе всевозможных группировок. Камерный – по существу, был «театром одной актрисы» (А. Коонен), театр Мейерхольда – как демонстрация таланта режиссера Мейерхольда, а также – как и в Камерном – обожествление руководителем своей жены (З. Райх). Словом, оба театра имели своих «премьерш».

В основном Художественном театре была своя борьба, свои группировки, но в очень завуалированной, облагороженной форме по сравнению с другими театрами и главным образом только после смерти гениальных его руководителей – К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

В нашем же театре не было премьерш. Не было незаслуженно предпочитаемых актрис. Каждая оценивалась по ее таланту, и каждой находилось достойное место в репертуаре. Дух равноправного товарищества не позволял делать исключений. Единственным исключением был М. А. Чехов. Он был

гений и, естественно, возвышался над своими товарищами, а те признавали его творческое преимущество и уступали ему законное первенство. С Михаилом Александровичем Чеховым я просуществовала под одной театральной крышей с сентября 1927 года по июль 1928 года, когда после гастролей в Ленинграде он уехал за границу и так и не вернулся на Родину.

В молодости ведь кажется, что жизнь бесконечна, что даже сама молодость никогда не кончится, что все тебя окружающее вечно, что оно не может измениться. Я не сразу поняла гениальность М. А. Чехова, не дорожила его присутствием и потому не слишком внимательно относилась к нему. Не помню ни одного разговора с ним, да и не было у меня с ним никогда разговоров. Изредка где-нибудь в фойе или на переходе из гримуборных, если он шел мне навстречу, то я робко здоровалась с ним и торопилась пройти мимо: он смущал меня своими пытливо смотрящими (почти белыми) глазами и улыбкой, в которой было и озорство, и что-то меня пугающее. Какой-то «чертик» он – стремительный, шутливый и вместе с тем значительный. Ходил он быстро, походка его была легкая, пластичная, фигура гибкая. Роста он был невысокого, но это не замечалось, тем более на сцене, где он умел так перевоплотиться, что буквально вырастал. Я уверена, что если бы Михаилу Александровичу удалось сыграть роль Дон Кихота (постановка этой пьесы намечалась на следующий год), то он, безусловно, был бы высоким. Я побаивалась М. А. Чехова, смущалась. Возможно, это забавляло его, если он вообще мог заметить меня. Так что никаких воспоминаний о нем как человеке я не

сохранила, ведь я не общалась с ним. Как теперь казню себя за это! В ролях его видела. Он потрясал, был неповторим, неожидан и полностью овладевал зрителем. Волшебная магия его таланта заставляла глубоко сопереживать его героям. Говорят, что одна только великая Ермолова обладала даром подобного убеждения. Во всяком случае, за всю мою жизнь я впервые ощутила такую силу таланта. Зрительный зал был целиком во власти этого таланта, Чехов заставлял зрителей плакать, безудержно смеяться, забывать себя. Гамлет, Облеухов, Муромский, Фрезер, Мальволио, Эрик, Калеб и другие. Какие это были яркие, различные, захватывающе интересные, глубокие образы! Не могу понять, почему я не ходила на занятия Чехова по мастерству. Возможно, что меня, как очень «желторотую», не включали в группу занимающихся, по-видимому, я еще не соответствовала уровню этих занятий, а сама я не просилась туда, хотя несколько раз видела, как в большом фойе по кругу передавали мяч, посылали друг другу какие-то фразы. Как я понимаю, это, по всей вероятности, были занятия по общению, тренировка посыла, словом, элементы системы Художественного театра. Особенно интересоваться этими уроками я еще не имела возможности, т. к. слишком поглощена была борьбой с тяжелыми бытовыми условиями моей с Павлом жизни.

Елена Вишневская в нижнем ряду вторая справа.

От занимаемого мною угла на Арбате я отказалась и жила некоторое время в крошечной комнатушке Павла, которую он снимал у цыган на Стрельне. Затем мы уехали с театром на гастроли в Ленинград. Там жили в громадной комнате на Ампирной (ул. Росси), за спиной Александринки. Впервые я была в Ленинграде. Он ошеломил меня красотой архитектуры, своими мостами и таинственными белыми ночами. По возвращении в Москву мы поселились в Замоскворечье, где-то возле Хавской улицы, в комнате без удобств и без мебели. Павел принес два больших плоских ящика из-под яиц, наполненных стружкой,

стружку мы положили на ящики и покрыли какой-то тканью. Это была наша кровать. Стол и стулья – тоже ящики, только поменьше. На подоконнике был примус, на котором я готовила незамысловатую еду. Из театра ехали трамваем больше часа, зимой очень замерзали, плохо обутые для этого путешествия, но в комнатке было центральное отопление, мы быстро отогревались, и нам казалось, что живем мы очень уютно. Чаще всего мы проводили в театре целый день, с утра и до позднего вечера, там же в буфете и обедали.

В музее имени Бахрушина в 1975 году был продемонстрирован фильм о 2-м МХАТе, найденный сотрудниками в запаснике. Я увидела в нем себя – двадцатилетнюю, сидящую в буфете. Читала письмо, с кем-то поздоровалась. Такая счастливая-счастливая была я в то время, полная надежд и веры в светлое будущее, и это сразу видно в коротеньком, буквально секундном кадре фильма.

Последний спектакль М. А. Чехова я помню хорошо. Это было на летних гастролях в Ленинграде, в 1928 году. Шел спектакль «Сверчок на печи», где я играла мою первую эпизодическую роль – невесты Мэй, а Чехов – Калеба. Он очень был неспокоен, играл неохотно, часто поворачивался к зрительному залу спиной. Мы ведь не знали, что он не вернется, думали, едет лечиться. Такова была версия его отъезда за границу. Сейчас много пишут о противоречиях, об отсутствии у Чехова согласия с коллективом, об его увлечении оккультными науками и т. д. Я ничего этого не знала, и не мне судить об этом. Но, когда я читаю некоторые высказывания, меня не покидает ощущение преувеличенности и искажения фактов.

Книжки о Чехове Морова, Иезуита, также Громова, каждая по-своему являются серьезными работами, но никакое описание игры Чехова не в силах передать подлинности ее. Воспоминания О. Пыжовой, в которых она чрезмерно восхваляет себя и всячески чернит Чехова, грешат искажением оценок и фактов. Воспоминания Дикого также тенденциозны, бедные наши потомки! Как будут сбиты они с толку подобными воспоминаниями. Да и теперь уже наша молодежь не может понять, что было и что есть хорошо и что плохо в театральном искусстве!

Одна только С. В. Гиацинтова могла бы внести ясность. У нее мудрая, светлая голова, она единственная оставшаяся в живых представительница этой «могучей кучки» 2-го МХАТа, человек необыкновенного такта, ума, сдержанности и скромности. Хотя она была женой руководителя театра Ивана Николаевича Берсенева, ее никогда нельзя было упрекнуть в каких-либо привилегиях, в подчеркивании своей значительности, в присвоении бо#льших прав, чем имели другие. Мне даже странно упоминать об этом, настолько эти черты «премьерства» неприемлемыми были и не могли существовать в таком высокоинтеллигентном коллективе, как коллектив МХАТа-2.

ГЛАЗАМИ ЛЕНИНГРАДЦА

„Бабы" в МХАТе II

Второй Художественный Театр нередко упрекали в чрезмерном подчеркивании пессимистических умонастроений. Комедийный спектакль Гольдони на сцене этого театра отвергает упреки в такой односторонности. Беззаботно веселый смех удается театру не в меньшей мере, чем сосредоточенные монологи „Гамлета", мрачные тона „Заката" и гротесковые гримасы „Дела". В спектакле „Бабы" объединены две комедии Карло Гольдони „Бабьи сплетни" и „Любопытные". Такой монтаж текста двух комедий вполне оправдан требованиями современной сцены. Постановка Второго Художественного Театра как-бы переносит на сцену атмосферу непринужденного веселья, солнечной радости, беспокойной суетни, свойственной южному карнавалу. Вращающаяся сцена — своим чистым движением подчеркивает стремительную динамику комедии, постоянно меняя декоративную установку. Яркие краски костюмов, причудливый рисунок декораций, превосходно обрисовавших Венецию XVIII века, удачное музыкальное сопровождение создают для спектакля тот подвижной, чрезвычайно бодрый фон, на котором развертывается во всю ширь актерское мастерство театра. „Бабы" — демонстрация работы женской части труппы театра.

Режиссеры Бирман, Гиацинтова и Дейкун, доказали, что их режиссерское мастерство также полноценно, как и актерское. Шумливая, говорливо-беспокойная толпа торговок, ремесленниц, прислуг оттеняет мишурное ничтожество и безжизненную сухость знатных аристократок. Пропорции соблюдены правильно и живые симпатии Гольдони к простонародной Венеции, к живым людям, посрамляющим „кавалеров" — дворян, уходящих со сцены истории дают театру повод к спектаклю, пусть легкому по своей сущности, но превосходному, по той громадной дозе безискусственного веселья и силы, которая в нем заложена. Жизнерадостный смех радостное настроение несут в зрительный зал многочисленные исполнительницы „Баб". Из них самая примечательная — Гиацинтова. В ее исполнении роль девочки Кеккины звучит мягкими лирическими тонами. Обаяние молодости, непосредственное приятие жизни раскрывается в речах и сценических жестах Гиацинтовой с правдивостью и исключительной чуткостью. Главную роль в первой части спектакля ведет Дурасова, крепко, уверенно с большим юмором играющая роль Карклины. Расторопная и шумливая прачка Катэ, интересно исполняемая Корнаковой, Суальда (Дейкун), Розаура (Скрябина), Вишневская, Оттен, Кравчуновская, Боголовская, Ключарева — наиболее выдающиеся в этом спектакле артистки, среди которых много очень молодых, еще недавно вступивших на подмостки сцены.

Спектаклем Гольдони Второй Художественный Театр достойно венчает свой сезон, начавшийся для него далеко не при благоприятных условиях.

Москва *Б. Мазинг*

„Рабочий и театр"
№ 23 (246)
1929 г.

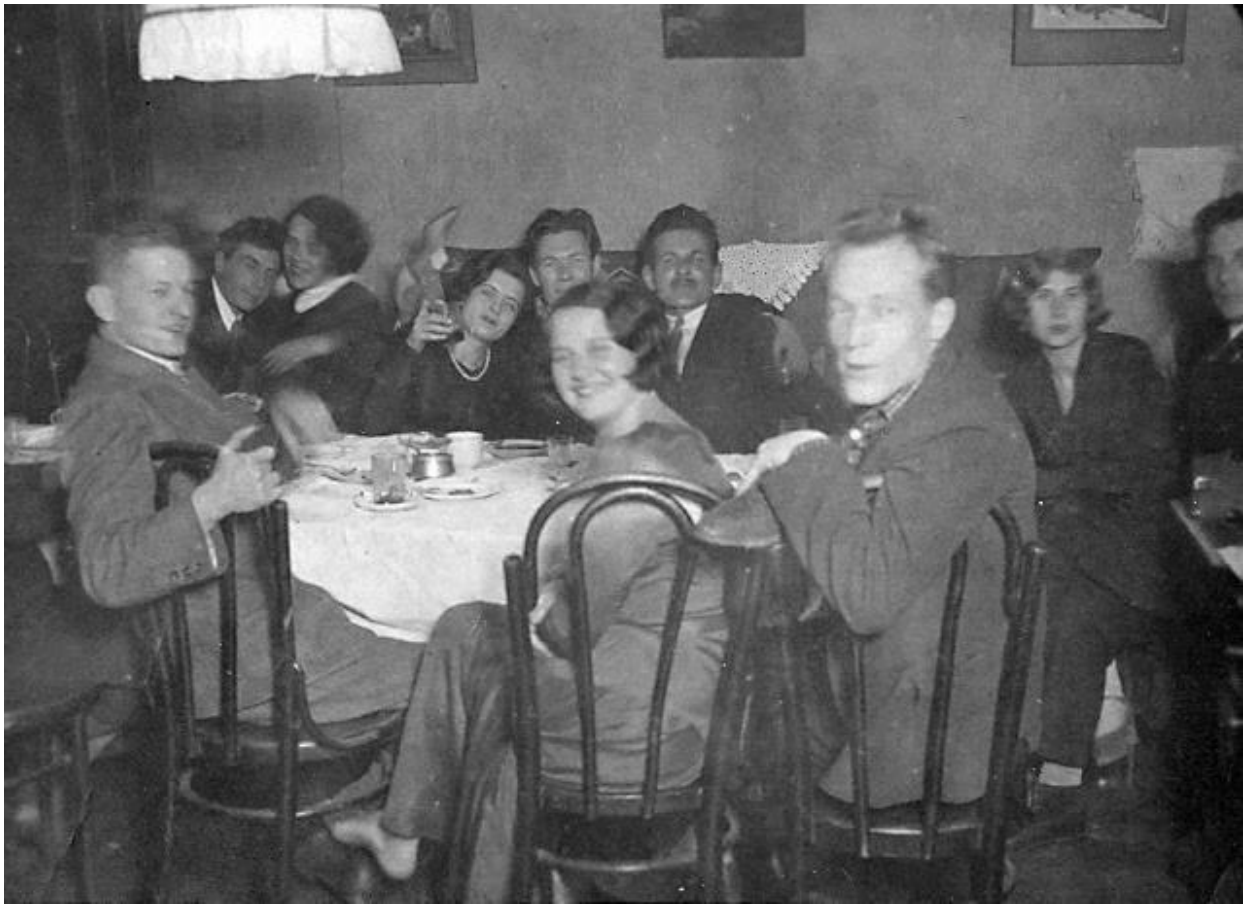
Беатриче

„Бабы" Гольдони.

1-й акт: Беатриче (Вишневская), Королина (Дурасова), Розаура (Скрябина), Октавио (В. Попов), Флориндо (Бахтеров)

Елена Вишневская в постановке МХАТа-2 «Бабы», 1929 г.

Все то пошлое, суетное, мелкое, с чем я столкнулась в конце своей театральной деятельности на периферии и что частично было поначалу даже в Московском центральном театре Красной Армии, напрочь отсутствовало во МХАТе-2. Да иначе и быть не могло! Это был театр чрезвычайно высокой культуры, коллектив единомышленников – воспитанных в единых традициях. Основателям театра повезло, они крепли и приобретали мастерство в Первой студии МХАТа, у таких великих учителей, как Л. А. Сулержицкий, К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.



МХАТ-2. Елена Вишневская на заднем плане третья слева, ее муж Павел Ермилов на переднем плане справа.

Для себя я называю «могучей кучкой» Чехова, Гиацинтову, Берсенева, Дурасову, Чебана, Бирман и Готовцева. Это – семь человек замечательных, сильных актеров, которые были ядром Театра. Конечно, в ядре были и Б. М. Сушкевич, и Л. И. Дейкун, и В. А. Попов и еще несколько талантливых актеров. Но эти семь были для меня самой вершиной или самым центром ядра.

Я так увлеклась воспоминаниями о МХАТе-2, связанными с моей молодостью, что вновь пережила ушедшие счастливые минуты. Да, тогда я была молода и счастлива, несмотря на все жизненные трудности. Но никто из нас не знает своего будущего, и это прекрасно. Думала ли я, что впереди кровавая война и беспощадная судьба будет играть мною, как море щепкой?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Когда стихает за окном шум московских улиц и наша квартира погружается в сон, когда день с его разнообразными делами остается позади, уступая место тишине и покою ночи, мне кажется, что все случившееся со мной за грозные годы войны я видела во сне. Что никогда я не переставала слышать ни этого мерного дыхания моей спящей маленькой семьи, ни этого неутомимого тиканья наших бодрых «ходиков»... будто всегда в эти поздние часы горела моя настольная лампа и я не расставалась с мирным уютом своей комнаты.

И только новые разнообразные предметы, внесенные мною в этот уют из иной жизни, красноречиво говорят мне о том, что они были моими спутниками в скитаниях, были они свидетелями всего случившегося

со мной не во сне, а наяву. Стальная ложка № 00013, наивная деревянная коробочка, записка, фотографии, кусочек коричневой овчины, квадрат голубого полотна с тремя белыми буквами и многое, многое другое.

Бездушные предметы! Но сколько смысла в них для меня! Каким волнением наполняется мое сердце, когда смотрю я на них, а мысли уходят в прошлое, в те страшные годы, когда не было у меня ни крова, ни семьи, когда шквал войны занес меня далеко от всего любимого и родного!

…Московский театральный сезон 1941 года подходил к концу. В мае Центральный театр Красной Армии выпустил «Сон в летнюю ночь» Шекспира – спектакль радовавший нас, участников его, своей высокой романтикой, красочностью и бессмертной чарующей музыкой Мендельсона. Я много была занята в театре, играя в нескольких спектаклях и имея ответственную общественную работу.

Пришла весть о переходе границы неприятельскими силами. Пограничная часть в полном составе устремляется к месту нарушения границы. Уходит даже повар Долгий, нарушая данное ему приказание оставаться на кухне. В помещении заставы остаются только две женщины—Софья Андреевна, жена лейтенанта Бахметьева, и его сестра Таня. Уже не первый год находящиеся на заставе, Софья Андреевна отдает приказание открыть огонь по врагу, пытающемуся вклиниться в глубь советской территории. Недрогнувшим голосом передает Софья Андреевна это распоряжение. Через несколько коротких мгновений она узнает, что тяжело ранен в голову ее муж лейтенант Бахметьев. В телефонной связи с бойцами наступает перерыв. Обе женщины испытывают в этот момент огромную тревогу, сильнейшее душевное волнение. Здесь перед исполнительницами была опасность впасть в сентиментальность, внести истерический тон в сцену, или удариться в другую крайность — продемонстрировать этаких героинь с «железными нервами». Ни того, ни другого нет у обеих артисток. Они психологически верно и убедительно проводят эту сцену.

Б. ГРИГОРЬЕВ.

„Учит. газета"
13/III 39 г.

Бахметьев – Майоров
Софья Андреевна – Вишневская

Елена Ивановна в постановке ЦТКА «Учит газета», 1939 г.

Едва прошел первый год, как ЦТКА начал работать в новом великолепном здании на площади Коммуны. Мы осваивали громадную сцену, оснащенную по последнему слову театральной техники, радовались красоте и комфорту закулисных помещений. Работали много, с большим подъемом. Вся жизнь моя была в театре, ему отдавались все силы, все время. Заканчивался зимний сезон, уже мечталось о будущем отпуске, когда можно побыть безраздельно с моей семьей – мамой и семилетней дочкой, так редко видевшей меня дома.

Еще 21 июня, возвращаясь поздним вечером домой из театра по оживленным, ярко освещенным улицам Москвы, легко и радостно думалось о завтрашнем дне, но пришел этот день – 22 июня 1941 года – и унес с собой надолго мир, тишину и человеческое счастье.

В июле мама с Катюшей эвакуировались вместе с семьями работников нашего театра на Волгу. Всю ночь накануне их отъезда я укладывала вещи и бодрилась, стараясь успокоить мою бедную маму.

Актриса Театра Красной Армии Елена Вишневская в военном санатории в Сочи перед войной.

Утром поехали на вокзал. Пока формировался состав, долго ждали, сидя на своих вещах под ярким летним солнцем. Катюша была оживлена и весела, как будто ехала на дачу. Мы радовались с мамой, что ребенок не понимает серьезности происходящего. Но вот прибыл один из пригородных поездов, и из толпы спешащих в город пассажиров подошел к моей Катюше какой-то гражданин с большим букетом цветов. «На, возьми, девочка, они теперь мне больше не нужны», – сказал он, отдавая цветы, и скрылся в толпе. Через несколько минут девочка затихла со своим букетом на коленях. Я нагнулась, чтобы заглянуть в ее лицо, и увидела, что

оно очень серьезно. В одной руке Катюша держала ромашку, другой отрывала один за другим лепестки цветка, а губы ее шептали: «Вернемся, не вернемся, вернемся, не вернемся...» Нет, не на дачу ехала моя девочка!

Елена Ивановна и Катя в 1939 году.

Наконец подали состав, погрузились и тронулись в далекий путь.

Тревожно и тяжело рассталась я с моими дорогими, но так было надо, так было лучше. Ведь налеты немецких бомбардировщиков на Москву за последнее время стали ежедневными, и хотя повреждения города были незначительные, но вой сирены воздушной тревоги и бессонные ночи в газоубежище совершенно издергали нервы маме, да и Катюша стала беспокойной, побледнела и осунулась.

Иногда и я сидела с ними там, под нашим домом на ул. Огарева, и с каким облегчением мы слышали отбой и выходили ранним синим утром на свежий воздух из этого подвала! Дышать полной грудью, двигаться, не ждать смерти, быть свободным – какое это счастье! Там, на Волге, они будут иметь это счастье!

Путешествие наших семейств прошло благополучно. Со слов одной нашей актрисы, вскоре вернувшейся обратно в Москву, моя дочка в поезде долго сидела задумавшись, а потом обратилась к ней: «Знаете, что я Вам о нем скажу?» – «О ком? О моем сыне?» – спросила ее актриса «Нет! Хуже! – ответила Катерина. – О Гитлере! Говорят, он болен неизлечимой болезнью! Скажите, может, он поскорее умрет?», а потом мечтательно улыбнулась и добавила: «Когда война окончится, воображаю, какие балы и… педикюры Вы закатите!»

На Волге, в деревне Токшики, недалеко от города Чебоксары, наша семья устроилась неплохо. От моих приходили успокаивающие письма. Катерина писала мне печатные каракули, навыворот каждая буква:

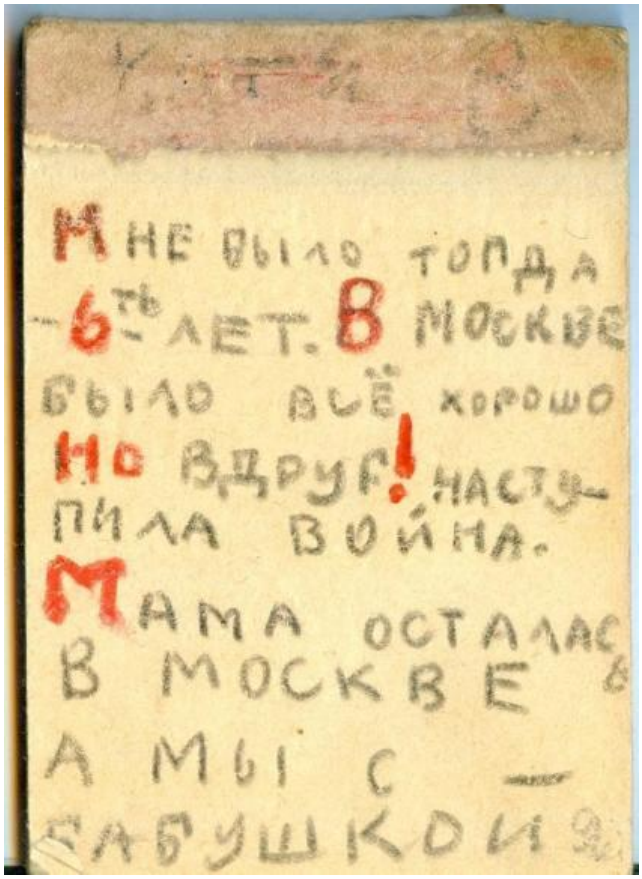
«Дорогая мамуля, я от тебя скучаю. Я здорова, берегу свою жизнь. Бабушка здорова и тоже беретет свою жизнь. Мы с бабушкой не ссоримся. Я тебе дала слово на вокзале. Мы работали на поле на ржаном, а сейчас мы граблями гребем, а чего мы гребем, не знаю. Не приезжай к нам зимой, потому что у нас волки, приезжай сейчас. Я тебя очень люблю».

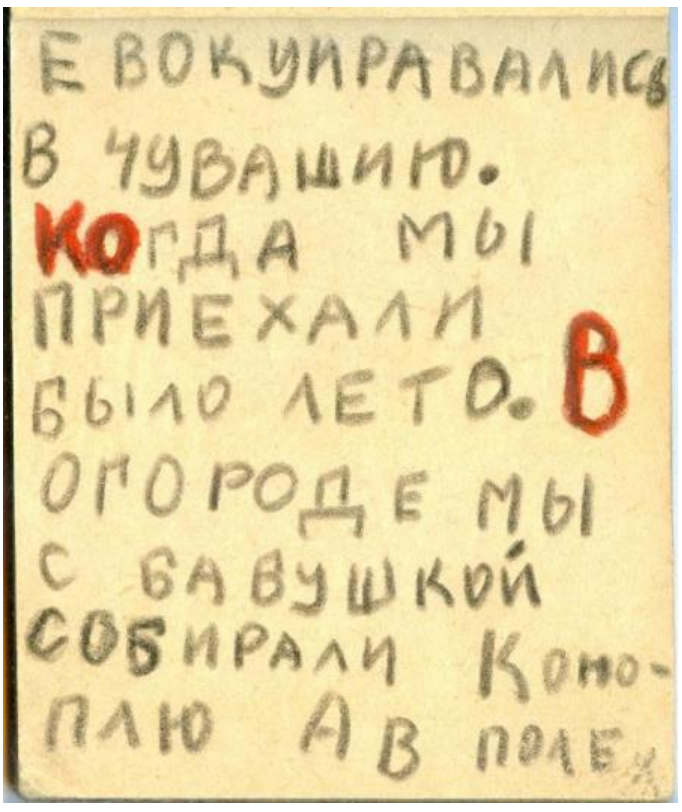
Жизнь моя после отъезда семьи проходила по-прежнему в театре. Мы играли спектакли, начинавшиеся днем, ночами дежурили по очереди то в своих домоуправлениях, то в театре по санчасти, помогали заканчивать маскировку нашего гигантского здания – на сетку нашивали аппликации зеленых матерчатых листьев. Воздушные тревоги меня уже не волновали, я привыкла спать в своей постели под бомбежку и просыпалась только на рассвете от говора выходящих из подвала людей.

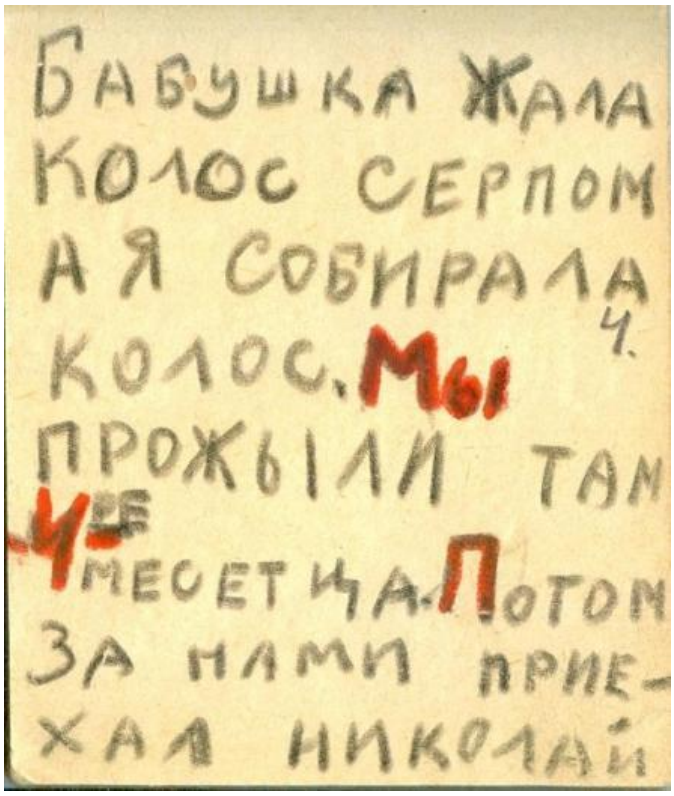
В августе с концертной бригадой театра я уехала на неделю во Владимир обслуживать госпитали. Помню первую мою встречу со зрителями. Зал, где мы должны были давать концерт, находился на втором этаже. Мы ждали зрителей с первого этажа, и они появились, медленно поднимаясь по лестнице – на колясках, безногие, безрукие... Выступать было трудно. Душили слезы.

Сентябрь и начало октября 1941 года знаменовались грозными событиями. Немцы подходили к Москве. Спектакли заканчивались рано, но добирались мы домой из театра в темноте. Город был затемнен. Все меньше и меньше оставалось знакомых и друзей, постепенно эвакуировавшихся со своими

учреждениями. Уезжали один за другим московские театры.







Дневники маленькой Кати Вишневской.

Однажды ночью в середине октября мне сообщили, что получен приказ о срочной эвакуации нашего театра. Через несколько часов я должна была быть с вещами у жилого дома артистов ЦТКА. Свой дом покинула на рассвете. Улицы были еще пустынны, в трамвае царила полная тишина, каждый сидел со своей большой думой. Я очень волновалась. В голове проносились мысли: «Неужели немцы войдут в Москву? Неужели по асфальту родного нашего города застучат сапоги ненавистных нацистов и зазвучит чужая непонятная речь? Возможно ли это? Нет! Нет! Никогда! Но какая борьба, какие испытания предстоят оставшимся москвичам! А вот мы – уезжаем… Таков приказ. Ослушаться нельзя, но как тяжко ему подчиняться».

Я смотрела на суровые лица рабочих, едущих со лигой в трамвае, и мне как-то стыдно было за свои чемоданы, будто я бегу от опасности. Мне казалось, что окружающие с укором смотрят на меня. Но вот уже надо выходить из трамвая. Один из рабочих – пожилой, широкоплечий человек коротко сказал мне: «Я помогу Вам», взял часть моих вещей, донес их до подъезда и поставил на тротуаре. Я хотела крепко пожать ему руку, но, повернувшись, увидела уже его спину, удалявшуюся от меня. Вдогонку я крикнула слова благодарности, человек дружески помахал в ответ рукой. Эта бескорыстная помощь незнакомого человека ярче слов сказала, как велико наше общее горе и как естественна поддержка друг друга.

Мы не уехали в этот день. Трое суток ждали приказа об отправлении поезда из Москвы, сидя у репродуктора и ловя каждое сообщение по радио. Эти дни Москва была в движении, как развороченный муравейник. Переполненные до отказа трамваи с гроздями висящих на подножках и даже на крышах людей, автобусы, грузовики, легковые машины – все перегружено вещами и людьми, все стремительно мчится куда-то. Ручные тележки, какие-то доселе невиданные допотопные возки, зачастую прикрепленные к автомашинам, толпы людей, поспешно идущих с котомками за плечами, и над всем этим движением, шумом – гул орудийной стрельбы, частые завывания сирены. Тягостное зрелище!

Наконец приказ об отправлении получен, транспорт подан и, разбившись на две группы, весь состав ЦТКА двинулся в дальний путь. Наша группа добиралась до Свердловска больше трех недель.

По прибытии мы разместились там в общежитии «Дома обороны» на ул. Малышева. Приступили к работе над выпуском нового спектакля на тему Отечественной войны. Репетиции проходили в Доме офицеров Красной Армии. Постепенно жизнь на новом месте как-то стала налаживаться. Пошли спектакли, концерты в госпиталях, на вокзалах.

В декабре к нам из Чувашии прибыли наши семьи, вскоре переселившиеся под Свердловск в деревню Ялунино. После такой радостной, но короткой нашей встречи мама с Катюшкой вновь покинули меня, и хотя не с ними была я, но уже могла перестать волноваться за их судьбы так сильно, как это было прежде, меня с ними теперь разделяли лишь 50–60 километров!

Театр беспрерывно отсылал концертные бригады для обслуживания фронта. Мои товарищи возвращались с этих поездок обновленными, обогащенными новыми большими впечатлениями. Я встречала их как счастливых избранников, приобщившихся к подлинному жаркому пульсу жизни. Товарищи рассказывали мне о нашей армии на фронте, о ее замечательных людях, о своих впечатлениях, чувствах, об удовлетворенности своей работой, о многом волнующем, большом и прекрасном. Непреодолимое желание поехать самой туда, на фронт, овладело мной.

Моя жизнь и работа в глухом тылу стала казаться мне какой-то неполноценной, ненастоящей. Здесь, в тылу, для некоторых единственной заботой стало преодоление трудностей быта и питания. Условия общежития порождали нервные взаимоотношения. Люди внутренне опускались, мельчали, в той или иной степени теряли свой человеческий, моральный облик.

Сама я тосковала, нервничала и потому как желанное избавление от тяготившей меня неудовлетворенности жизнью приняла я сообщение руководства театра о включении меня в состав очередной фронтовой бригады.

Дней за 20 до моего отъезда на фронт я поехала к своим. Был март месяц, и обильные снега вокруг деревни Ялунино уже начали оседать и темнеть от весеннего солнца. На краю деревни из группы игравших ребят с криком: «Мамуля» выскочила маленькая шустрая фигурка в пятнистой меховой шубке. Я прильнула губами к розовой мордочке и носу, покрытому новыми веснушками. В этот вечер особенно вкусными оказался скромный ужин, приготовленный мамиными заботливыми руками, а ночью особенно сладким был сон. Я вновь была со своими.

Наутро увезла Катюшу погостить к себе в Свердловск. И теперь рядом с моей кроватью, в большой холодной комнате нашего общежития, стояла кровать моей девочки. Все свободное время, а его было немного, я проводила с моей крошкой. Днем ее звонкий, властный голос разносился по светлому, широкому коридору, где она играла со своими новыми подружками, затем мы шли с ней обедать в Дом офицеров по крепкому морозу, и она неутомимо и бодро шагала рядом со мной. По дороге я рассказывала ей что-нибудь, чувствуя ее маленькую теплую руку в своей руке.

Вечерами, перед сном, я читала ей вслух «Маугли» Киплинга, и она, подперев по-взрослому рукой свою головку, недвижно слушала меня, широко раскрыв свои ясные, пытливые глазки. Если вечером я была занята, то по возвращении в общежитие заставала ее

уже спящей, а на ночном столике всегда лежала ее записка с отчетом, что она делала в мое отсутствие.

Катюша смотрела наши спектакли, концерты, кинокартины. Помню, привела я ее на наш спектакль «Дым отечества». До его начала был еще целый час, я ушла гримироваться, зовя с собой Катерину, но она наотрез отказалась сопровождать меня, заявив, что будет ждать начала в зрительном зале. И вот через щелку занавеса я видела дивное зрелище: полуосвещенный, совершенно еще пустой зал, и где-то в первых рядах торчит только большой бант, а под ним мерцают серьезные, мечтательные глаза моей девочки. Ребенок сидит не шелохнувшись. Какими мыслями занята ее маленькая головка? Каких чудес жаждет ее чистое сердечко? А когда я в числе других исполнителей прошла со знаменем под звуки марша через зрительный зал на сцену, начиная спектакль, я увидела, как вспыхнули от волнения ее щеки и лицо озарилось восторженной улыбкой.

Раза два она ездила со мной в госпиталь на концерты. Сидела между ранеными и щебетала им с гордостью: «Это моя мамочка выступает». Перед своим отъездом в Ялунино она вдруг заявила мне: «Вот видишь, мамочка, зачем ты так хорошо играешь? Если бы ты играла похуже, тебя бы не отправили на фронт!» Ей не хотелось со мной расставаться.

Насмотревшись интересного, пожив в сутолоке и шуме Свердловска, Катеринка уже с видимым удовольствием возвращалась со мной в тихую деревеньку, где ее ждала любящая бабушка.

Уехала я от своих на следующий день рано утром. Катеринка спала, а мама вышла провожать меня к

грузовику. Последние мамины напутствия и мои успокоения, крепкие объятия, и вот наш грузовик отошел. Вдогонку несется тонкий мамин голос: «Пиши чаще! Не очень рискуй, Леночка! Счастливого возвращения!» Мама плачет и машет мне рукой. И на многие годы в моей памяти осталась эта одинокая, маленькая фигурка на краю чужой, заснеженной деревушки и по ветру несущаяся трогательно наивная фраза: «Не очень рискуй, Леночка».

Александра Михайловна Вишневская.

Катя с бабушкой Александрой Михайловной после войны, 1946 г.

Два дня сборов прошли в Свердловске как в тумане. Нам выдали военное обмундирование, сопроводительные бумаги. Я была в лихорадочном возбуждении. Хотелось подстегнуть время, чтобы приблизить день нашего отъезда. И вот этот день настал.

Помню, накануне отъезда всю ночь не спалось. Я забылась коротким сном только на рассвете и вскоре была разбужена для прощания с друзьями и отъезда на вокзал. Проезжая по утренним улицам Свердловска, все мы, участники фронтовой бригады, испытывали новое, особое чувство ответственности, идущее и от военной формы, и от серьезности задач, стоящих перед нами.

Ехали на Москву. В поезде дорабатывали заготовленные номера для будущих концертов, делились мнениями по творческим вопросам и без конца говорили о предстоящей работе на фронте. Состав бригады – шестеро мужчин и четыре женщины – подобрался удачный, дружный: И. Вилевская, Е. Вишневская, А. Романова, Н. Сазонова, С. Великов, К.

Карельских, А. Корзыков, В. Кручинин, В. Пильдон, В. Рудный.

Приехали в Москву.

С каким волнением через полгода я вновь вошла в свою комнату! В углу разобранная Катина кроватка, на стене часы с застывшим маятником, из-за стекла посудного шкафа смотрят на меня веселые чашки. Я –

как в спящем сказочном царстве, где все ждет возвращения той жизни, которая оборвалась 22 июня 1941 года.

А театр! Каким покинутым, застывшим в своем запустении, каким тоскующим, как живое существо, показался он мне. Я зашла на сцену. Очищенная от декораций, непомерно большая, темная и холодная, она зияла вопиющей пустотой, и с трудом верилось, что здесь еще так недавно била ключом полнокровная творческая жизнь.

В Москве мы получили назначение: Юго-Западный фронт. Уехали через Воронеж на Изюм В пути задерживались в нескольких точках, давали концерты раненым, мобилизованным. В госпиталях, на вокзалах, на эвакопунктах началась наша работа. Чем ближе к фронту, тем суровее обстановка, тем больше следов разрушений.

В одну из ночей наш поезд прибыл на станцию Изюм. В темноте нас перевезли по мосту через реку и разместили в какой-то конторе. Изрядно уставшие, мы прилегли на столах и стульях, но сон не смыкал глаза. Всю ночь рядом с нашим домом неустанно грохотала зенитка, отгоняя назойливо кружившийся вражеский самолет.

Отсюда началась наша новая жизнь.

То удаляясь, то приближаясь к передовым линиям, целыми днями мы колесили на грузовике, давая концерты в землянках, на полях, в лесах, в деревушках. Каждый день с утра до самой темноты мы были в работе. Отъезд, дорога, приезд, переодевание в концертное платье, выступление, вновь переодевание в свою форму, отъезд, приезд в новую точку,

переодевание, концерт и так до вечера, а назавтра снова то же самое. Дни слились в одно целое, смешались названия мест, где мы выступали. Остались в памяти только несколько особенно выразительных по своей обстановке концертов.

Был май месяц. Леса и поля буйно зеленели под щедрыми лучами солнца. Повсюду цвели подснежники, заливались на разные голоса птицы, это было какое-то могучее ликование проснувшейся природы, зовущей к жизни, радости и счастью. А рядом с ней, в ней же самой шла война, смерть косила направо и налево свои жертвы, горе шло по стране, и кровь заливала землю.

Мы давали концерты в лесу. Гул передовых линий едва доносился туда, красота весенней природы окружала нас. Мы выступали с грузовика, а зрители сидели на земле, на пнях деревьев. Лесные птицы вторили мелодиям нашего баяна. «Человек создан для счастья, как птица для полета» – вспомнила я слова Короленко. Хотелось говорить о счастье, утверждать жизнь наперекор смерти.

Я поднялась на грузовик с букетом подснежников у ворота моего платья. На меня смотрели приветливые, дружеские глаза бойцов и командиров. Оторванные от родных мест, надолго покинувшие свой кров, своих детей, матерей и жен, ежечасно рискующие своей жизнью во имя Родины, они мне показались уже давно знакомыми, родными. Здесь, на этом концерте, я ощутила ту драгоценную, кровную связь со зрителями, то большое, взволнованное общение человеческих мыслей и чувств, какого никогда доселе не

испытывала в обычных концертах и спектаклях Москвы.

Выписка из приказа

ВОЙСКАМ УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

„27" марта 1942 г. № 49 гор. Свердловск

За активное участие в работе по культурному обслуживанию частей и госпиталей УралВО об'являю благодарность Вишневской, Е.И.

П. п. Командующий войсками УралВО генерал-майор КАТКОВ

Член Военного Совета УралВО корпусный комиссар ГАПАНОВИЧ

Начальник штаба УралВО полковник МАЛИНИН

Верно: Секретарь Военного Совета УралВО политрук (СИТКОВ)

987

Сознание подлинной необходимости своей работы является великим счастьем человека вне зависимости от его работы. Здесь, на фронте, я это поняла яснее, чем где бы то ни было.

Мы никогда не знали с точностью, на каком расстоянии находимся от передовых линий, но угадывали это расстояние по тому приему, какой оказывали нам зрители. Чем опаснее, тем засекреченнее была военная точка, куда мы приезжали, тем полнее сознание, что наш концерт нужен как моральная зарядка, как отдых после ответственной военной операции. Особенно теплое чувство объединяло нас, когда мы выступали у

разведчиков, где-нибудь в самых дебрях леса, природная маскировка которого искусно скрывала целые батареи, маленькие аэродромы и ангары.

После концерта, по приглашению хозяев, мы закусывали с ними тут же в лесу, слушая их рассказы об операциях в тылу врага. Что за люди! Нас восхищала их смелость, дерзкая находчивость и железная выдержка! У артиллеристов, у танкистов, у пехотинцев, – у всех, кого мы посетили, было основное общее: это непоколебимая вера в свои силы, глубокое сознание долга и поразительный внутренний покой, за которым всегда чувствовалась крепкая воля, в любую минуту способная мобилизовать на выполнение боевого задания. Мы были в армии, мы существовали для нее. Она вливала в нас новые моральные силы.

Часто в середине нашего выступления налетали вражеские самолеты. Зрители и мы рассыпались по лесу, залегая в кустарниках, а над нами по густой листве деревьев стучал дождь смертоносной пулеметной очереди. Иногда самолеты врага настигали нас в пути, и по возгласу «Воздух!» мы покидали свои грузовики и хоронились где возможно. Но обычно об угрожающей нам опасности мы узнавали, когда она уже проходила.

Помню, мы стремительно пересекали на своем грузовике одно поле. Сопровождающий нас фронтовой политрук: несколько раз в пути начинал напевать какую-то песенку, и лицо его в этот момент делалось заметно напряженным. Только по прибытии в назначенное место мы узнавали, что поле, по которому мы ехали, было точно пристрелено немецкими батареями. Проскочить через него невредимыми

считалось большой удачей. Политрук это знал и в особо опасных точках, скрывая свое волнение за нас, напевал.

Один из концертов был в громадной балке. Заходящее солнце кровавой медью золотило холм, под которым расселились несколько бойцов. Завтра они уходили в бой. Я была захвачена могучим величием раскинувшейся передо мной панорамы. Высокая патетика момента подняла во мне особые силы, и, может быть, именно тогда я испытала необыкновенное творческое горение, которое осмеливаюсь назвать вдохновением.

В этот же вечер, находясь уже в другом месте, мы узнали, что через каких-нибудь 20 минут после нашего выступления в балку на опустевшие холмы были сброшены авиабомбы. Немецкая разведка опоздала сообщить о большом скоплении людей!

Испытывали ли мы страх во всех этих опасных переделках на фронте? Нет, страха не было! Мы были в Армии, мы чувствовали ее силу, ее поддержку, она укрепляла нашу волю, и, видя вокруг себя столько примеров истинной храбрости, нам просто стыдно было бояться.

Политрук продолжает бой.

Месяц работы на фронте подходил благополучно к концу. Много было изъезжено дорог, много концертов дано для действующей армии, запечатлено много интересных встреч и драгоценных бесед. Масштабы проделанной работы вселяли чувство глубокого удовлетворения. Приближался срок окончания нашей фронтовой командировки и возвращение через Москву в Свердловск.

На фронте я нашла то, чего мне так не хватало в тылу. Я была счастлива новым, доселе не испытанным счастьем. Мама и Катюша были в моем сердце, но я о них не успевала думать весь этот месяц, и только теперь, засыпая после трудового дня где-нибудь в походной палатке или на полу в избе, все чаще и чаще я начинала мечтать о предстоящей встрече с ними. Я представляла, как иду со своей дочуркой в большой Ялунинский лес по ягоды и без конца рассказываю ей об этом месяце на фронте.

На одном из ужинов после нашего концерта у гвардейцев генерал Михайлов поделился с нами предстоящими планами овладения городом Харьковом и дал согласие на приезд туда нашей бригады. Перспектива давать концерты в освобожденном Харькове очень нас волновала, и мы с радостью были готовы ради этой цели задержаться на фронте сколько потребуется.

В двадцатых числах мая мы по свежим следам отступающих немцев, въехали в город Лихачев, улицы которого все еще носили отпечаток минувших боев. Разрушенные дома, запустение и... трупы в зеленых

мундирах. Здесь впервые я увидела немцев, вернее то, что когда-то ими было. Мы пересекали этот городок и остановились с концертом в примыкающей к нему деревушке.

Помню вечер после концерта в одной избе, где предстояло нам переночевать, и разговоры со старухой. Она плакала и все повторяла: «Голубчики вы наши! Я уж думала, помру и не увижу вас больше, а вы прогнали немца и приехали музыку нам играть!»

В ожидании наступления на Харьков мы по приказу отъехали немного в тыл и остановились в деревне Красивая (а может быть, Красная). Цвели вишневые деревья, была жаркая и удивительно тихая погода. В один из дней ожидания, когда ни одно облачко не омрачало густо-синего неба, мы много часов провели всей бригадой на лугу за избой. Спроса на нашу работу почему-то не было, и мы отдыхали, шутили, смеялись, купались в маленькой речке. Да! Чудесный был день! Тут же на цветочном лугу я написала письмо маме с надеждой на скорую встречу. Нас баюкала природа, и мы, усталые, доверчиво лежали на земле и смотрели в синее небо. Не верилось, что шла война, что фронт рядом с нами! Весь день мы прождали грузовик, почему-то он не пришел за нами, и мы даже рады были, что его нет, уж очень хорошо было отдыхать под щедрыми лучами летнего солнца. Удивительный покой был в тот день на земле…

К вечеру наконец-то пришел грузовик и повез нас по полям и лесным дорогам. Вечером в лесу мы давали концерт командному составу. Хорошо помню этот концерт и все стремительные последующие события.

Читала я экспромтом сказку о матери из итальянских сказок

Горького – эта вещь не входила обычно в нашу программу, а на этом концерте мне захотелось ее прочесть. Во время ужина после концерта один из командиров сказал, мне: «Если б Вы знали, какое впечатление произвело на меня чтение этой вещи!» И скорбное выражение его глаз непонятной тревогой сжало мое сердце. «Что это с ними со всеми?» – невольно подумала я, оглядев командиров. Какие-то необычные, не те, они были. Они шутили, но за бойкими словами не чувствовалось настоящего веселья, озабоченность и какая-то скованность владели ими. Решив, что они просто очень устали, мы постарались недолго засиживаться за дружеской беседой и, освещенные взошедшей луной, побрели к месту своей ночевки.

На этот раз спали под открытым небом. Ночь была тихая и удушливо теплая. На рассвете я проснулась от звуков вальса Штрауса. Чарующее пробуждение! Лес, аромат земли и переход из сна в реальность, насыщенную мелодией вальса Штрауса «Сказки венского леса». Это играла радиола, она дала как бы тональность на целый день. Радостно и легко мы чувствовали себя на трех дневных концертах.

Наступил вечер, и, когда мы уже собирались готовиться ко сну, Веню – как руководителя нашей бригады – срочно вызвали на командный пункт. Вернувшись оттуда, он коротко сказал нам: «Положение на фронте изменилось, приказ отъезжать в тыл, не исключена возможность окружения...»

Все меркло вокруг! Наш лес, ставший нашим домом, показался вдруг чужим, холодным, неприветливым и пустым, будто все части его покинули, а мы остались одни в этом зловещем ночном мраке… «Не исключена возможность окружения». Так вот почему так серьезны были командиры! Когда же случилось это несчастье? Уж не тогда ли, когда мы блаженствовали на цветущем лугу деревни Красивая? Может быть, именно в этот день, именно в той необычной тишине стягивалось немецкими войсками горло мешка, в котором мы оказались! Если бы дано было человеку видеть свое будущее, от скольких бед охранил бы он себя!

Прошла бессонная ночь в том же лесу. Начался дождь. Мы жались друг к другу. На рассвете нас забрал грузовик, вывез из леса, и тут мы увидели картину отступления нашей Армии. По всем дорогам грузовики, тачанки, походные кухни, военная техника, наши войска Поток людей, лошадей и машин.

Это было 24 мая 1942 года.

Во второй половине дня остановились в какой-то деревне и прошли в избу. Истомленная бессонной ночью, я поднялась на украинскую печь и тут же заснула. Через десять минут меня уже будили. В избу пришли хорошо знакомые нам командиры с официальной информацией: «Положение очень серьезное, мы в окружении, попытаемся помочь вам, товарищи артисты, вырваться из этого окружения».

Елена Ивановна в роли.

Я вышла во двор. Возле хаты собралась оживленная группа бойцов, они тесным кольцом окружали что-то находящееся в центре. Я подошла и увидела молодого немецкого солдата. Он сидел на завалинке. Запыленное, сильно исхудавшее лицо, широко раскрытые голубые глаза, с ужасом смотревшие на бойцов. Волосы сбиты в серую паклю. Видно, несколько дней скитался этот фриц по полям. Бойцы задавали ему вопросы, а он, как собака в сильную стужу, беспрерывно дрожал мелкой дрожью. «Эх ты, чего же ты сразу к нам не пришел, чего прятался?» – гудели бойцы, посмеиваясь. Немец тыкал в лицо бойцов зажатой в руке листовкой – «пропуск», заискивающе засматривал в их глаза и дрожащими губами произносил: «Сталин. Сталин». – «Эх, ты, грамотей! Пришел бы сразу к нам, иначе бы было, а теперь тебе будет капут! Слышишь? Капут!» Сразу же от этих слов немец перестал дрожать. «Капут», – машинально и без всякого выражения повторил он. Ему приказали встать, повели через огороды вниз к речушке, и оттуда я услышала выстрел.

Не совсем понимая происходящее, я спросила полковника, задумчиво стоявшего рядом со мной: «Разве мы расстреливаем пленных?» – «Нет, мы не расстреливаем, – горячо и серьезно ответил он и вдруг, беспомощно улыбнувшись и как-то неловко разведя руками, добавил: – Но – сейчас! Что мы можем делать с пленным сейчас? Ведь мы сами находимся в окружении!»

И вот только в этот момент я поняла действительную опасность нашего положения. Вспомнилось мне, как несколько раз Вениамин спрашивал меня: «Ну как,

Елена, чувствуешь ли ты, что находишься на фронте?» А я всегда отвечала ему, что мне все чего-то не хватает, уж очень все спокойно, нет ощущения опасности. Тогда он смеялся и шутил: «Вот погоди, перелетим мы на оккупированную территорию, куда-нибудь в лес, давать концерт партизанам, вот тогда ты, наверное, почувствуешь опасность!»

Теперь я полностью ощутила это зловещее понятие – опасность. «Что теперь будет? Как мы будем прорываться? Что нам предстоит?» – проносились тревожные мысли в голове, но надежда, что мы выйдем, обязательно выйдем из окружения, ни на секунду не покидала меня. Думалось: «Будет, возможно, трудно, но мы вырвемся!»

Нам предоставили два грузовика, на одном – все мы, на другом – наши вещи. День – без устали на колесах, к вечеру – стоянка на окраине леса. Вокруг в темноте спустившейся ночи вспыхнули костры. Это жгли ценные бумаги, документы. Свою скромную записную книжку с чувством горечи я также бросила в огонь.

День 25 мая застал нас спящими в своем грузовике. Солнце было уже довольно высоко. Нам выдали винтовки и, разделив по двум грузовикам женщин и мужчин, куда-то повезли. Долго ездить нам не пришлось, больше сидели в окопах, хоронясь от авиабомб неприятеля. Тревожно и досадно было наше вынужденное бездействие. Время шло, а мы оставались на месте. Только к вечеру наступило затишье, и мы помчались вперед, затем назад, вправо, влево… Это было уже судорожное метание в кольце окружения. Нам никто ничего не объяснял, но и так все было ясно. С наступлением темноты наше состояние

стало особенно напряженным; боясь потеряться в общем потоке машин, мы покидаем наш грузовик и перебегаем к нашим мужчинам. Их грузовик полон до отказа, и в нем лежит раненый боец. Он тяжко стонет. Я вынуждена почти лежать на несчастном. Возобновляется обстрел. Над нами грозной тучей несутся мины. Движение машин прекращается. Мы вываливаемся из грузовика и лежим до рассвета, прижавшись к земле. Постепенно минометы затихают, и затем вдруг наступает полное затишье.

Еще стоит звон и гул в ушах, еще как-то странно качается тело, потеряв равновесие, а кошмар прошлой ночи уже остался позади. Начинается новый день – 26 мая. Сулит ли он нам что-нибудь отрадное?

Двигаться нам больше некуда. Кольцо окружения замкнулось. Получен приказ всем входить в соседнюю балку. Мы спускаемся по холмам ошеломленные, безмолвные. Я иду как во сне. Машинально тащу на спине свой вещевой мешок, через плечо противогаз и винтовку. Усталость подкашивает ноги. Товарищи говорят мне: «Бросай свою ношу! Она тебе больше не нужна!» Понять это невозможно. Помню, мне так страшно и трудно было бросить свой мешок. Неуверенным движением я оттолкнула его от себя, и он как-то беспомощно и неловко покатился по буграм холма, затем я сняла противогаз.

Рядом со шлемом лежало неотправленное письмо маме. В голове пронеслось: «Да, уж ничего не нужно, кроме жизни».

Прошлое стремительно уходило назад, и мамино имя на конверте глухим, далеким, родным голосом посылало мне свой последний привет. Я приложила

конверт к губам, разорвала письмо на мелкие клочки и развеяла по ветру.

Солнце поднялось над горизонтом.

Мы вышли в балку. Странная картина предстала перед моими глазами. Громадная, глубокая балка, густо заполненная людьми, танками, лошадьми, повозками, кипела как гигантский котел. Особое сходство с котлом придавали белые движущиеся фигуры, которые группами, как накипающая пена, зарождались то там, то здесь на самом дне балки. Сразу даже трудно было понять, что это такое? Приглядевшись, я увидела, что бойцы снимают свое заношенное белье и из груды сваленного на землю красноармейского обмундирования берут себе по свежей смене и надевают на себя. «Боже мой, точно готовятся к смерти!» – подумала я.

Сверху с дорог в балку спускались все новые и новые массы бойцов, и когда не только ее дно, но и все ее склоны густо покрылись людьми, в небе, заглушая своим резким ревом многотысячный гул толпы, показался тяжелый немецкий бомбардировщик. По холмам пронеслось: «Ло-ж-и-ись!», и в наступившей внезапно тишине коротко и сухо защелкали выстрелы тысячи винтовок. Бомбардировщик пронес над нами свои белые кресты с отвратительными щупальцами черной свастики и, не торопясь, как бы облюбовывая наиболее насыщенную людьми точку, совершил полукруг над балкой и вдруг взвыл по-волчьи, спикировал, бросая на ходу одну за другой бомбы. На дне балки взметнулись столбы земли и дыма, загорелся один танк, закорчились раненые люди. Бомбардировщик скрылся, а через минуту вернулся

уже не один, а с другим. Теперь две хищные птицы стали сбрасывать свои смертельные яйца. Сбрасывали, улетали, вновь появлялись. Так началось безжалостное методическое истребление почти уже беззащитных людей, прижавшихся к земле.

Мы лежали сперва все вместе, четыре женщины и шестеро мужчин, и смотрели в небо, которое несло нам смерть. Ожесточенная ненависть поднялась во мне. Я выпустила всю обойму из винтовки. На мое плечо легла рука Саши Корзыкова: «Бесполезно, Лена, они слишком высоко!»

Часа через три вновь эта организованная бойня, и всякий раз, когда появлялись самолеты, тысячи пуль неслись в небо и тысячи глаз с надеждой устремлялись за их полетом, но враг оставался невредимым. Казалось, упади он подстреленный, и охваченная огнем мести вся эта масса людей выплеснется из балки на поля и, обретя новые силы, могучим своим напором прорвет кольцо окружения. Так казалось, так мечталось! Во мне все как будто высохло от внутреннего жара. Каждую секунду ждать своей смерти, видеть муки тяжелораненых, не иметь возможности защитить себя и их, быть прикованной к земле без движения – тяжкое испытание!

Рядом со мной, так же, как и я, лицом к небу, лежала Тося Романова. Ее большие, такие красивые карие глаза, сурово и почти не мигая, смотрели куда-то в пространство, кудряшки каштановых волос колечками выбивались из-под кожаного шлема. Что-то в этом, почти детском по своей свежести, молодом лице вызвало вдруг нежданные скорбные воспоминания о Катеринке, и тут сразу же до предела натянутые нервы

оборвались, и рыдания сотрясли меня. «Знаешь, Тося, – воскликнула я, – умереть мне не страшно, верь моему слову, но бедные, бедные мои мама и Катюша, что будет с ними без меня!» Тося молчала.

Оглушительный взрыв, и мощный шквал отбросил нас двоих в сторону. Комья земли хлестнули по лицу и голове. «Жива?» – крикнула я Тосе. «Еще жива», – ответила она.

Совершив перекличку всей нашей бригады, мы решили перебраться на другую сторону балки в тень. Добрались туда не скоро и вновь припали к земле на добрые полтора часа. Наконец бомбардировщики исчезли окончательно. Мы подобрались потеснее друг к другу и обнаружили отсутствие Иды Виленской. Звали ее, искали, расспрашивали окружающих бойцов – тщетно. Ида исчезла. Так потеряли мы первого нашего товарища. Осталось нас теперь 9 человек.

Вскоре была объявлена атака, и наши мужчины ушли вместе с военными в поле. В опустевшей балке наступила тишина. Нина Сазонова, Тося и я сидели прижавшись друг к другу и слушали отдаленный гул. Вернутся ли наши товарищи? Над нами стали пролетать мины. Характерный звук – будто откупорили громадную бутылку, потом завывание и дальний взрыв. Проходит час томительного ожидания, и вот балка постепенно заполняется возвращающимися людьми. Вот и наши, наконец-то! Один, другой, третий – все шесть! Живы и невредимы! Как мы дороги друг другу сейчас, спаянные общим несчастьем! Атака не дала желанных результатов, наше положение остается прежним.

Расстрелянные фашистами.

Близится вечер. Очень хочется есть, ведь мы целые сутки без пищи. Я иду искать провиант. Пройдя по дну балки, вижу на одном из холмов генерала Михайлова со своим штабом. Говорю ему о нашей бригаде. Он дает мне в помощь адъютанта и велит передать Веньямину, чтобы он явился к нему. Хоронясь от летящих мин, мы с адъютантом набрали полные руки ящиков с консервами, сахаром и сухарями. Запыхавшаяся и довольная, я свалила эту драгоценную ношу у ног обрадованных товарищей. Веня тотчас же пошел к генералу. Не успели мы еще разобрать продукты, как он вернулся с сообщением: «Товарищи, нас берет генерал в прорыв со своей танковой бригадой! Все за мной!»

Бросая на ходу желанные продукты, мы почти бежим друг за другом через гущу бойцов по дну балки.

Гремит орудийный выстрел, и вслед за ним начинается смерч пуль, мин, бомб, снарядов. Это – начало прорыва. Мы попали в полосу огня – идти невозможно. Кто-то из наших кричит: «Ложись!» Я вижу, как идущие впереди меня Саша и Виктор стремительно припадают к земле. Ложусь на землю и я. Затем мы сползаем в окопы. Огонь усиливается с двух сторон. Стреляем из своих винтовок и мы. Немцев не видно, но они где-то здесь, недалеко, их пули свистят мимо нас, от их пуль вскрикивают и падают бойцы. Мыслей нет никаких. Осталось две задачи: беречь голову и стрелять, стрелять, стрелять…

Сколько прошло времени, я не знаю. Огонь постепенно стихает. Уже можно слышать друг друга. В окопе со мной Саша и Виктор. А остальные наши? Да, верно, здесь же, рядом с нами! Мы оглядываемся – их нет. Вокруг нас бойцы в серых однотипных шинелях, и среди этих тысяч одинаковых фигур, где-то в неведомом для нас месте, наверное, находятся ушедшие от нас наши товарищи! Почему? Как это могло произойти? Возможно ли и нужно ли знать, кто виноват в этой катастрофе, в этом происшедшем страшном несчастье?

Мы оторвались от нашей группы, мы остались одни в окруженной Армии. Передовые части, наверное, уже прорвались, и наши товарищи, надо верить, находятся уже по ту сторону кольца.

В первый раз надежда покидает меня. «Что делать? Что делать?» – сверлит мозг этот вопрос.

Солнце коснулось своим краем верхушек холмов, скоро в балку спустятся сумерки, а с ними и враги. Холод пробегает по спине от этой мысли. Все живое

движется к выходу из балки. Раненые и трупы остаются на месте. Идем в общем потоке и мы втроем – «артисты погорелого театра» – так в шутку иногда дразнят нас расшалившиеся дети, но сейчас от этих мыслей комок горьких слез подкатывает к горлу.

Как чудовищно нелепо происшедшее с нами!

«Сестричка, помогите!» – молят меня раненые бойцы. Я прохожу мимо страдальцев. Мне нечем им помочь. Вот и сумерки опустились. В полутьме все вокруг становится призрачным и изменчивым. В мрачном подавленном безмолвии, как за гробом любимого человека в бесконечной траурной процессии идем мы все по дну балки. Не свою ли свободу хороним мы?

Копыта коней обмотаны тряпками, и они бесшумно, как тени, скользят то здесь, то там в массе людей. Все вокруг какое-то затаенное, настороженное и полное тревожной таинственности. Нет уверенности ни в будущем, ни в правильности нашего пути, ни даже в своем случайном соседе. Почему вот эти двое военных шепчутся друг с другом и постепенно отстают от нас? Почему вот этот командир, подозрительно оглядевшись вокруг, вдруг свернул в сторону и скрылся в разветвлении балки? В голову лезут самые неожиданные и странные предположения.

Нервы взвинчены, сердце полно недобрых предчувствии и тоски. «Виктор! Если появятся немцы, молю тебя, как друга, – убей меня», – говорю я в отчаянии. «Ты сошла с ума!» – сурово отвечает он.

Взошедшая луна стелет под наши ноги широкую фосфористую дорожку, и сразу все вокруг делается четким и конкретным.

Тонкий свист пули прорезает безмолвие ночи, и, взметнув руками, без единого возгласа падает на землю один из бойцов. Еще свист. Конь рядом со мной шарахается в сторону, сильно толкает меня, и, выпуская узду из слабеющих рук, с него падает замертво командир. Еще и еще, то здесь, то там падают люди. Что это? Коварная, невидимая рука косит людей. Вражеский снайпер без промаха расстреливает свои жертвы. Он где-то здесь, впереди нас, схоронившись в черноте холмов.

Там вокруг нас, повсюду опасность, смерть. Мы прячемся в тень под склоны балки, но луна поднимается выше и безжалостно обнажает все пространство своим неумолимым светом. Тогда мы карабкаемся на холм, то поднимаясь на верхушку, то спускаясь к подножью. Усталые ноги отказываются служить, нестерпимо мучит жажда. Наш путь пересекает ручей, мы бросаемся к нему и тотчас же отшатываемся – он завален трупами.

Идем дальше – и вот вновь ручей! Вот так, припав потрескавшимися

от жара губами к этим освежающим струям воды, закрыть глаза и лежать, лежать без мыслей, без тревоги на теплой земле! Если бы это было возможно! Мы так смертельно устали! Но нет, нельзя! Усилием воли мы заставляем себя оторваться от ручья и вновь движемся вперед.

Вот наконец и выход из балки, перед нами расстилается поле. Куда идти? Никто не знает. Впереди чернеют хаты какой-то деревни, мы обходим ее стороной. Где немцы? Если бы знать это! Если бы до

рассвета успеть выбраться из этой проклятой ловушки! Постепенно вся наша масса разбивается на группы.

Пересекаем поле, и вдруг столб осветительных ракет взлетает вверх справа от нас, мы шарахаемся влево, но и слева те же ракеты. Они остаются долго висеть над головой, как будто приклеены к небу, от них некуда деться. Некуда скрыться. Немцы вокруг нас – это несомненно.

Горизонт светлеет. Короткая летняя ночь прошла, а мы ничего не достигли! Напрягаем последние силы, добираемся до прошлогоднего подсолнечника, сухие, высокие стебли которого густо покрывают большой участок поля. Идем в глубину этих зарослей и останавливаемся на дневной привал.

Мы изолированы от внешнего мира, от просторного поля, нам кажется, что мы в надежном укрытии и сможем, не замеченные немцами, пролежать здесь целый день, а ночью вновь в путь! И тут уж мы, конечно, доберемся до своих! Усталое тело жаждет отдыха. По совету Саши мы втроем отходим немного в сторону от всей группы, на скорую руку из тех же стеблей подсолнечника мастерим подобие шалаша, залезаем в него и мгновенно погружаемся в сон.

Я просыпаюсь от звука пролетевшего над нашими головами самолета, глаза слепит яркий солнечный свет.

Это наступил день 27 мая. Вокруг тишина и все та же томительная неизвестность. Мы будем лежать так целый день до ночи.

И вдруг где-то совсем близко от нас раздаются резкие, отрывистые выкрики, затем пулеметная стрельба.

Мимо нас через частокол стеблей пробегают согнувшиеся фигуры бойцов. Кровь холодеет в жилах. Немцы берут в плен нашу группу. Мы срываемся с места и тоже бежим. За нашей спиной все глуше и глуше раздаются выстрелы и крики. Мы одни, кажется, мы спаслись, можно выпрямиться и идти дальше, но мы как подкошенные, падаем на землю. В десяти шагах от нас страшным призраком через заросли подсолнечника проплывает черный громадный немецкий танк. Кончено! Здесь оставаться нельзя. Через несколько минут танк вернется сюда, сгоняя свою добычу, и нас постигнет страшная участь. Что делать?

Перед нами до горизонта ровное поле, а рядом – проезжая дорога. Нигде ни одной живой души. Нельзя медлить. Решаем пересечь дорогу и схорониться в несжатом хлебе. До него пройти надо всего каких-нибудь шагов двести, не больше. Быстро пересекаем дорогу и уже делаем несколько шагов по полю, как вдруг, будто из-под земли, слева на дороге показывается автомашина, она мчится стремительно по направлению к нам. Что делать? Мы в чистом поле, схорониться негде, падать на землю бессмысленно. Не останавливаясь и не оглядываясь, в каком-то окаменелом упорстве мы идем вперед, и только одна мысль отчаянно

бьется в голове: «Остановится ли машина?»

Высокий звук ее мотора резко снижается и… затихает. Остановилась!

Меня нет, есть только моя спина, в которой сконцентрировались все нервы и все чувства. Мы продолжаем идти. Секундная тишина как хлыстом

рассекается возгласом: «Хальт!» По инерции, передвигая потерявшими чувствительность ногами, мы делаем еще несколько шагов. Возглас «Хальт» звучит грознее, требовательнее. Мы останавливаемся. Понимаем, что надо повернуться, но ноги приковывают нас к земле.

«Сейчас я увижу немцев», – проносится в мозгу. Мы медленно поворачиваемся.

Минута, которой я так боялась, наступила!

Серая легковая машина стоит на дороге, и, высунувшись из нее, трое немцев: шофер-солдат и двое офицеров, застыв в напряженных позах с руками на кобурах, пристально смотрят на нас.

Что это? Действительность или фантастическое сновидение? Почему нет во мне ни страха, ни отчаяния, ни растерянности? Нет во мне ни чувств, ни мыслей. Нет даже моего тела. Так бывает только во сне, когда видишь себя со стороны. Вероятно, это момент наивысшей напряженности, но мне кажется, что я предельно спокойна и безжизненно пуста.

Медленно, неотрывно глядя на немцев, мы приближаемся к ним. Слева – Саша, в середине – я, справа – Виктор. С каждым нашим шагом позы и лица немцев обмякают, руки сползают с кобур. Ведь мы безоружны.

Наверно, это командование, спешащее после тщательного утреннего туалета и завтрака на передовые позиции.

Один из немцев, тучный и розовый, с любопытством осматривает нас и спрашивает по-немецки: «Кто вы такие?» Знание немецкого языка у нас троих слабое.

На днях именно Саша Корзыков сказал мне, как по-немецки слово: «артист, артист». Неожиданно для самой себя я отвечаю: «шаушпиллер». Глаза немцев округляются. «Куда вы идете?» Так же ровно и спокойно мой голос отвечает: «Домой». – «Где ваш дом?» Я отвечаю: «Москва». Только это дорогое, как имя матери, слово необходимо мне произнести.

Подобие изумления и даже какой-то растерянности сменяется улыбкой на жирном лице немца Он достает портсигар и закуривает сигарету, снисходительно оглядывает нас. Безумно хочется курить. Недолго думая, говорю по-французски: «Дайте мне, пожалуйста, сигарету». Изумлению немца нет предела. Торопливо и услужливо он подносит мне портсигар, зажигает спичку. «Ого, Вы говорите по-французски!» – наконец восклицает он. «Да, я актриса», – отвечаю я.

Окончательно придя в себя после такого странного диалога со мной, немец дает какое-то приказание шоферу и, указывая рукой налево от нас, энергично произносит: «Сюда не идите, там стреляют, там вас могут убить, а идите сюда», – его рука указывает направо. «Там фронт... – думаю я, – так вот куда надо было идти ночью!..» Немец привычным жестом отдает нам честь, садится в машину, хлопает дверца, из-под шин отъезжающей машины поднимается пыль, звук мотора постепенно затихает вдали.

Мы одни в безбрежном поле, светит солнце, тишина, нежно трещат кузнечики... Сон... сон!.. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся, я говорю: «Знаете, это какие-то не настоящие немцы... мне кажется, – попроси мы их – они взяли бы нас с собой на передовые позиции!» Мы делаем несколько шагов, пытаясь

осмыслить положение. Еще дымится в моей руке немецкая сигарета, а оттуда, куда исчезла фантастическая автомашина, слышен торопливый треск приближающегося мотоцикла. Посланный за нами ариец в каске уже издали кричит нам «Хальт» и, поравнявшись с нами, реально и ощутимо тычет в наши спины дулом автомата.

Все ясно. Нет никаких иллюзий. Фантастика кончилась.

За поворотом дороги виднеется деревня, и вот нас вгоняют уже за плетень первой хаты. На земле на завалинках сидят наши ночные попутчики, мелькают знакомые лица. Мы все – военнопленные.

Меня тотчас же уводят на допрос. На ходу я бросаю Виктору и Саше: «Буду говорить, как есть на самом деле!» – они одобрительно кивают головой. Я вхожу в садик за хатой. Там стоит обеденный крестьянский стол с двумя длинными скамьями. За столом, склонившись над бумагами, фигура немецкого офицера. При моем приближении он поднимает голову и на чисто русском языке приглашает сесть. Мучает жажда. Прошу попить. Немцу прислуживает наш – Ваня. Он одет наполовину в немецкую, наполовину в красноармейскую форму. Приспособился... Приносит мне воды, не глядя в мои глаза. Офицер спрашивает: «Кто Вы? Зачем Вы на фронте?» Я так устала волноваться, что мне уже совершенно безразлично, верит мне немец или не верит, что мы актеры. Все равно уже нашу судьбу ничто изменить не может.

Он смотрит мой паспорт, мой служебный театральный пропуск, записывает мою фамилию. Вспоминает о Москве, где он несколько лет работал на одном из

наших заводов, справляется, есть ли у меня семья, высказывает предположение, что моя семья в эвакуации. Он здорово осведомлен и хорошо ориентируется в обстоятельствах. «Ваша семья, вероятно, в Азии или Сибири?» «Да, – устало отвечаю я, – в Сибири». Тогда, сочувственно глядя мне в глаза, немец говорит: «Не огорчайтесь, осенью немецкая армия займет Сибирь, и Вы увидитесь с Вашей семьей». «Что Вы сделаете с нами, – перебиваю его я, – расстреляете?» Он прижимает руку к сердцу и, умильно улыбаясь, говорит: «Что Вы! Мы, немцы, – гуманная раса. Мы не расстреливаем пленных, о нет! Вас сейчас накормят, затем пошлют куда-нибудь работать».

Он провожает меня до Виктора и Саши, бегло просматривает их документы, и нас троих, как проверенных, присоединяют к группе находящейся на лугу перед плетнем. Я передаю своим товарищам содержание моего допроса, и мы задумываемся. Саша произносит, не договорив: – «Мягко стелют…» Проходит час.

Постепенно к нашей группе присоединяют новых допрошенных, а вокруг образовывается кольцо зрителей. Я единственная женщина среди пленных и вызываю особый интерес. По моему адресу раздаются шутки и замечания немецких солдат, один из них даже фотографирует меня. И вдруг из глубины группы зрителей раздается неистовая русская брань и надсадно кто-то кричит: «Эх ты, б…, ты чего пошла на фронт? Мы, мужики, обязаны, а ты – сволочь? Шпионка? Будешь висеть вниз головой, – тогда узнаешь, что такое фронт. Собаке собачья смерть!» – и вновь зловонная ругань завершает этот злобный

выпад. На мгновение все застилается каким-то туманом, дурнота охватывает меня. Саша шепчет; «Лена, молчи! Не смотри в ту сторону! Успокойся!»

Начинается дождь. Зрители расходятся. Мимо нас на своих мотоциклах проезжают эсэсовцы, их лица жестоки и беспощадны. Мы молча стоим под проливным дождем и ждем своей участи. Двое конвойных ходят медленно вокруг нас и зорко следят за каждым нашим движением.

Проходит еще один час, и еще, и еще...

Нас уничтожат, мы в этом не сомневаемся.

Только бы хватило сил до конца остаться в этом душевном оцепенении! Только бы не дать прорваться мыслям, чувствам, образам любимых, голосу жизни – всему тому, что заперто мною в глубине души!

Дождь кончился. Раздается окрик строиться в ряды. Мы безмолвно смыкаем руки в суровом прощальном рукопожатии. Саша, Виктор, я.

Новый конвойный, с автоматом и большой веревкой в руках, кричит; «Лосс, лосс!» – а мне чудится: «Русь, Русь», – и вновь, как тогда при первой встрече с немцами, теряется ощущение реальности. Я вижу нас идущих в бредовом сновидении. «Русь, Русь!» – кричит немец.

Сейчас нас остановят, пуля войдет в мое сердце, и меня не станет. Но мы все идем и идем. Значит, не этот конвойный убьет нас.

На перекрестке дорог стоит пулемет. «Из пулемета!» – проносится мысль. Но и мимо пулемета мы проходим.

Дорога ведет через поля. Впереди я вижу большие ветвистые деревья. У конвойного в руке жгутом связанная веревка. И тут все существо пронизывает беззвучный вопль ужаса: «Нас повесят, по-ве-сят!» Я вижу деревья, которые ползут на нас, я вижу их узловатые, страшные ветки. Вот они совсем надвинулись на нас. Смертельная дурнота мутной волной поднимается к горлу, я, наверное, сейчас упаду. Время останавливается.

Но что это? Деревья проплыли мимо. Я дышу, я иду, я вижу солнце, жизнь возвращается ко мне. Смерть прошла. Нас куда-то гонят. Жить! Жить! Мы будем жить!

Первый привал у колодца. У меня нет никакой надежды напиться. Стою и смотрю на свалку людей, вырывающих друг у друга котелок. Конвойный подходит ко мне и говорит: «Катынка, ком хиер!» Почему Катенька? Имя моей дочери! Какое скорбное совпадение! Я иду за конвойным. У колодца он берет этот котелок, наполняет водой и дает мне напиться. Может быть, он оставил в Германии свою невесту, сестру? И сейчас вспомнил о ней?

Затем вновь строй и дальнейший путь. Проходим деревни. Крестьянки выносят хлеб. Нам троим не достается. Мы слишком подавлены, чтобы бороться за свой желудок. К вечеру входим в какую-то деревню. Вероятно, пройдено больше 20 километров. Ноги распухли, с трудом двигаются. Конвойный спрашивает меня, кто я, задает еще какие-то вопросы, но я не понимаю его. Он с любопытством смотрит на меня и ведет всех нас к избе.

В сущности, это беспечный и даже добродушный малый. За целый

день он никого из нас не ударил, даже редко покрикивал свое «лосс!». Свистел, перекликался со встречными солдатами. Своим поведением он скорее похож на пастуха, чем на конвойного. Для него мы – стадо.

В избе для нас троих места не оказалось. Мы остались на завалинке. Выдали хлеб. Он исчез в поспешных жадных руках. Саша пытался урвать для меня, но безрезультатно! Взошла луна. Виктор нашел какой-то сухарь в кармане, тщетно убеждал меня съесть его. Я слишком устала. Устроилась на деревянной крыше погреба. Двое часовых, ежась от ночной прохлады, как тени, беспрерывно кружили вокруг нас. То проваливаясь в сон, то вновь просыпаясь, я была в полуобморочном состоянии.

Наступил рассвет 28 мая.

Раздался окрик строиться в ряды. Я поднялась и от резкой боли в диафрагме вновь упала. Видимо, болело солнечное сплетение. Не мудрено. За четверо суток выпало достаточно потрясений, нервы не выдержали. Как я пойду? Судьба опять сжалилась надо мной. Впереди нашего строя появилась тачанка, запряженная лошадью. Конвойный вновь произнес: «Катынка!» И вот я уже сижу на тачанке рядом с возницей, возглавляя всю группу военнопленных. Саша и Виктор в первом ряду сразу за моей «колесницей». «Сестричка, хотите сахару?» – спрашивает возчик – наш боец. У меня во рту горечь полыни. Я протягиваю руку. Боец достает из кармана странный кусок грязно-бурого цвета. Сахар в крови. Все равно. Чувство брезгливости потеряно. Сахар и чья-то кровь как будто подкрепляют меня.

Вновь дорога. Поля. Зной украинского солнца. Навстречу немецкий обоз и восклицание оттуда: «Вайб, фрау! Вайб!..», восклицания то насмешливые, то веселые, то удивленные, то злобные. Они хлещут меня. У меня чувство, что я прохожу сквозь строй под ударами. Обоз проехал. Передышка. Появляется новый, и вновь то же испытание. Всякий раз, когда я вижу приближающихся встречных немцев, я вся сжимаюсь. Моя «колесница» превращается в своеобразный эшафот.

В середине дня мою тачанку остановила группа офицеров. Они что-то спросили нашего конвойного, он ответил и затем позвал меня «Ком, ком!» Мне стало не по себе. Зачем меня зовут? А вдруг всех отправят дальше, а я останусь здесь одна? Что еще готовит мне судьба? Офицеры спросили меня, кто я такая, зачем была на фронте. Как умела, я им ответила. Они ткнули свои носы в мой паспорт и… отпустили меня. Не чуя по собой ног, я пошла обратно к своей группе, к Виктору, к Саше.

«Хальт!» – сказал конвойный и, шкодливо улыбаясь, снял с моей головы кожаный шлем, торопливо засунул его в свой карман. Мой шлем ему приглянулся. «Хорошо еще, что не убил меня! Черт с ним!» – подумала я. Так за кружку воды, за «катынка» и тачанку я расплатилась своим шлемом.

Наш путь продолжался еще два часа, а затем был объявлен привал. Конвойного мы больше не видели, тут закончилась, очевидно, его миссия. Мы влились в толпу военнопленных, расположившись на отдых.

Здесь жизнь била ключом. Многие из окружавших нас стирали свои портянки в громадной луже, переобували

натруженные ноги, перебрасывались отрывочными фразами со своими товарищами. И если не видеть их похудевших от усталости и горя лиц, если б не видеть их глаза, полные смятения и безнадежности, можно было бы подумать, что это обычный отдых наших бойцов. Если бы не видеть!

Новые и новые группы присоединялись к нашей массе. Плен! Все они, все мы – в плену! Как это вынести? Как понять эту новую страшную реальность?

Все то, что я замкнула в своей душе, прорвалось, и я вдруг захлебнулась волной воспоминаний о моей вольной жизни, о любимой семье, о друзьях. Мне хотелось, кричать, выть по-звериному. Боль разрывала меня. Это была смертельная мука, отчаянье, тоска. Я не кричала, но меня всю корчило. Помню, Саша и Виктор совали мне какие-то кусочки сухарей: «Елена, ешь, ты должна есть, иначе погибнешь», но пена шла из моею рта, я задыхалась от рыданий, я не могла совладать с собой.

Потом, постепенно придя в себя, я с Сашей и Виктором пошла искать воду, но ее нигде не было. Тогда, зачерпнув поднятой с земли каской какую-то зеленую жидкость из окопа, я напилась настоем из чего-то ржавого и горького. Кто знает – может быть, в окопе под этим слоем воды лежал мертвец!

Отсюда мы пошли общим потоком пленных в сборный лагерь, в село Алексеевку.

Алексеевка! Кто из нас мог знать тогда, каких-нибудь три недели назад, во время ужина и интересной беседы с командным составом артиллерии, что вернемся мы в Алексеевку уже не гостями, а рабами! Осталось до нее еще километров 15. Поля вокруг

дороги были усеяны трупами и тяжелоранеными. Жестокий был бой на подступах к ней.

Вот одна из картин, навсегда врезавшихся в мою память: широкий тракт, по нему медленно движутся массы сгорбленных, измученных пленных, кое-где виднеются немецкие конвойные. На обочинах дороги – стоны умирающих, разбитые танки, исковерканные орудия. Светит солнце, земля – как камень. Украина, цветущая, наша родная, ты ли это? Все вокруг измято, сожжено, уничтожено! Вялый ветер иногда пробежит по полям, подхватит письма, советские деньги или ненужной лаской коснется мертвых кудрей тех, кому не поднять уже своих славных голов, и вновь все недвижно. Только поток пленных движется, движется нескончаемо и обреченно по раскаленному тракту. Навстречу нам в клубах пыли немецкая машина, на ней стоят трое немцев и палят из автоматов во все стороны. При их приближении с земли поднимается богатырская фигура нашего командира, вижу его лицо, искаженное болью, он тяжело ранен, он почти мертв, но его глаза вспыхивают последним огнем сопротивления, борьбы, ненависти, огнем жизни. Он что-то кричит немцам, слов не слышу, но знаю, что это проклятья. Автоматная очередь прекращает его мучения.

Я не хочу жить. Почему не в меня стреляли немцы? Такая жизнь хуже смерти.

Долог томительный путь. Силы меня покинули, воля сломилась. Я часто падаю на землю, теряя сознание, тогда Саша и Виктор стоят надо мной, ждут, когда я приду в себя, и мы вновь потащимся дальше. Иногда из

встречных немецких машин несутся злорадные выкрики победителей:

«Ага! Фронт ист гут?», – и улюлюканье, и зычный смех.

Нас обгоняет санитарная машина. Мои товарищи решают остановить ее и помогают мне подняться в машину. Она доставит меня в Алексеевку, пешком вряд ли я дойду. «В лагере найдем друг друга!» – кричат мне вслед мои друзья. Эта фраза была последней.

Машина полна раненых, острый запах крови и гниения мутит меня, некоторое время я терплю, сдерживаю подступающую тошноту, но когда уже делается невмоготу, прошусь сойти с машины. Меня высаживают. Мне дурно. Валюсь на землю. Лежу, пока окрик очередного конвоира не заставляет меня подняться на ноги. Надо идти. Саша и Виктор остались где-то позади. Я успела отъехать от них километра на 2–3.

То падая, то вновь бредя в гуще пленных, я продвигаюсь к Алексеевке. Какой-то боец, помню, взял меня под руку и зашептал: «Сестричка, а Вы дойдете до Алексеевки, снимите форму, может, Вам кто-нибудь даст переодеться, и идите на деревни Зеленая, Красная, а там можно перебраться к нашим». Я силюсь запомнить названия деревень, но они расплываются в моей ослабевшей памяти. Сколько прошло времени – не знаю.

Солнце стало приближаться к земле, показались первые хаты и огороды, на которых работали крестьянские девушки. Последним усилием я дотащилась до огорода возле дороги и упала без сознания.

Пришла в себя от звука голоса и руки, тормошащей меня. Надо мной стояла девушка и настойчиво повторяла по-украински: «Та вставайте, та идите до хаты». Я встала и пошла за ней. «Та кидайте шинэль», – добавила она. Я выронила из рук шинель и, не оглядываясь, не прячась, на виду у немцев медленно пошла по огородам к ближайшей хате. Видели ли меня конвойные? Подумали ли они, что я пошла напиться? Не знаю, ничего не знаю, но меня никто из них не окликнул, не остановил, не толкнул обратно в поток пленных.

Я вошла в хату. Хозяйка, пожилая женщина с белым от страха лицом, подняла свои руки над головой и стала отмахиваться от меня, как от призрака: «Та идить вид мэнэ, та идить, ой, горенысо?!» – умоляющим шепотом повторяла она, а я быстро стягивала с себя свое военное платье и, бросая ей ватник, платье, сапоги, тоже лихорадочно шептала: «Скорее, скорее, давайте мне, что у вас есть!»

Видя, что со мной ничего не поделаешь, женщина одним махом подхватила мое обмундирование, бросила его в сундук, а в моих руках оказались ситцевая юбка, крестьянская кофточка, черный дряхлый жакетик и дырявые мужские ботинки. Переодевание заняло секунды. Выталкиваемая из хаты перепуганной хозяйкой, я вышла на воздух.

Кто сказал, что я не хочу жить? Я сама? Я ли это была? Да! Я! Я – больная, бессильная, я сейчас здорова, силы вернулись ко мне. Я, как после смертельной болезни, впервые вышла на воздух. Еще кружится голова, еще неуверенно ступают мои ноги, еще не совсем ясно помню, что сейчас произошло. Но я, кажется, спасена.

Стою на краю дороги, мимо меня плывет поток, из которого я только что вырвалась, поток людей, потерявших свободу…

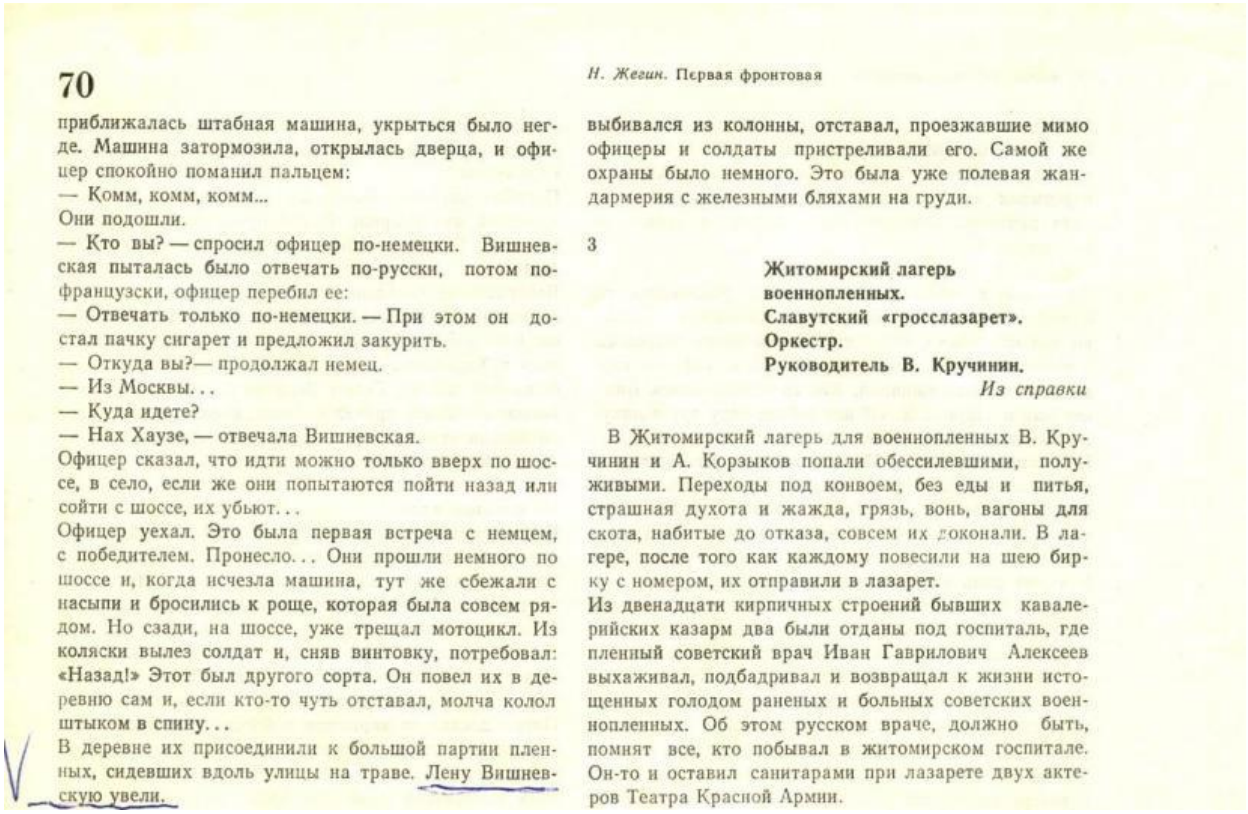
Я уже в стороне, не в нем.

Всматриваюсь в лица, ищу среди них Виктора и Сашу. Их нет. Одна из крестьянок, вскрикнув, бросается в гущу пленных, рыдая, обнимает одного из них. Брата ли, мужа ли своего увидела она?

За моей спиной тихий голос: «Та идить до нас, бэрить тяпку, копайте землю, та не стойте тута!»

Милые, родные девчата, я не знаю ваших имен, я не помню ваших лиц, но пусть цветет ваша жизнь полным счастьем на свободной, возрожденной ныне Украине!

А в 1969 году в февральском номере (№2) журнала «Театр» я прочла очерк Н. Жегина «Первая фронтовая». На странице 66-й со второго раздела очерка идет описание работы моей концертной бригады на фронте и дальнейшие судьбы ее участников. Собраны материалы архива ЦТСА и воспоминания Н. А. Сазоновой и В. Я. Кручинина.



70

Н. Жегин. Первая фронтовая

приближалась штабная машина, укрыться было негде. Машина затормозила, открылась дверца, и офицер спокойно поманил пальцем:

— Комм, комм, комм...

Они подошли.

— Кто вы? — спросил офицер по-немецки. Вишневская пыталась было отвечать по-русски, потом по-французски, офицер перебил ее:

— Отвечать только по-немецки. — При этом он достал пачку сигарет и предложил закурить.

— Откуда вы?— продолжал немец.

— Из Москвы...

— Куда идете?

— Нах Хаузе, — отвечала Вишневская.

Офицер сказал, что идти можно только вверх по шоссе, в село, если же они попытаются пойти назад или сойти с шоссе, их убьют...

Офицер уехал. Это была первая встреча с немцем, с победителем. Пронесло... Они прошли немного по шоссе и, когда исчезла машина, тут же сбежали с насыпи и бросились к роще, которая была совсем рядом. Но сзади, на шоссе, уже трещал мотоцикл. Из коляски вылез солдат и, сняв винтовку, потребовал: «Назад!» Этот был другого сорта. Он повел их в деревню сам и, если кто-то чуть отставал, молча колол штыком в спину...

В деревне их присоединили к большой партии пленных, сидевших вдоль улицы на траве. Лену Вишневскую увели.

выбивался из колонны, отставал, проезжавшие мимо офицеры и солдаты пристреливали его. Самой же охраны было немного. Это была уже полевая жандармерия с железными бляхами на груди.

3

Житомирский лагерь военнопленных.
Славутский «гросслазарет».
Оркестр.
Руководитель В. Кручинин.

Из справки

В Житомирский лагерь для военнопленных В. Кручинин и А. Корзыков попали обессилевшими, полуживыми. Переходы под конвоем, без еды и питья, страшная духота и жажда, грязь, вонь, вагоны для скота, набитые до отказа, совсем их доконали. В лагере, после того как каждому повесили на шею бирку с номером, их отправили в лазарет.

Из двенадцати кирпичных строений бывших кавалерийских казарм два были отданы под госпиталь, где пленный советский врач Иван Гаврилович Алексеев выхаживал, подбадривал и возвращал к жизни истощенных голодом раненых и больных советских военнопленных. Об этом русском враче, должно быть, помнят все, кто побывал в житомирском госпитале. Он-то и оставил санитарами при лазарете двух актеров Театра Красной Армии.

В нескольких местах мои товарищи упоминали обо мне. Последняя фраза такая: «В деревне их присоединили к большой партии пленных, сидевших вдоль улицы на траве. ЛЕНУ ВИШНЕВСКУЮ УВЕЛИ» (стр. 70). Эта статья и советы друзей подтолкнули меня продолжить воспоминания о моей судьбе военного времени...

Итак, деревня Алексеевка, 29 мая 1942 года.

Некоторое время я проработала с девушками на огороде, с каждой минутой делаясь все сильней и здоровее. Окончательно поверив в то, что я вырвалась из плена, решила пройти к лагерю, куда сплошной, густой массой продолжали без остановки идти наши пленные. Я надеялась увидеть Сашу и Виктора. Но, двинувшись к лагерю и далеко не дойдя до него, я поняла, что моя затея наивна и безрезультатна. Над тем местом, где располагался этот гигантский лагерь,

до самого неба стояла пыльная завеса и, как морской прибой, слышался гул многотысячной толпы. Крестьянки, возвращавшиеся оттуда, остановили меня, сказали, что близко к лагерю не подпускают.

Я вернулась в деревню. Переночевала у добрых людей. Утром их девочки проводили меня на шлях. Помню, в благодарность за их приют я подарила им свой старинный бисерный кошелек. Вложила в него свой московский адрес, чтобы они написали обо мне в Москву маме, когда наступит возможность это сделать.

Но... они не написали, может быть, не остались в живых...

А я вспомнила сердечные советы пленного бойца и пошла в деревню Красивая. Пришла туда. Узнала хату, в которой наша бригада недавно ночевала. Вышла хозяйка. Бог мой, как все за эти дни переменилось. Перевернулась вся жизнь! У хозяйки квартировали румынские солдаты. Она не проявила ни малейшего сочувствия к моей судьбе, была озабочена своими новыми постояльцами, однако дала мне кусок хлеба и напиться.

Вскоре по приказу какого-то энергичного дяденьки, вероятно старосты, я, получив лопату, пошла в числе группы крестьянок зарывать трупы наших военных.

Лил обильный дождь. Пришли на знакомое место. Это была та самая лужайка у речушки, на которой несколько дней назад мы провели так радостно целый день в блаженном отдыхе. Сейчас ее трудно было узнать. Где ее зелень? Где цветы? Растерзанная, искореженная, израненная разрывами бомб и снарядов земля. В глубоких рытвинах застряли тачанки, пулеметы, рядом с ними туши волов,

запряженные в орудия, и тела убитых воинов. Страшное зрелище.

На спине лежал мертвый командир. Мы подняли его, чтобы опустить в могилу, и из его кителя выпало письмо. Мы прочли его. Писала его мать, что сынишка его здоров, что вся семья ждет его с победой домой…

Это было 30 мая – день моего рождения. Исполнилось мне 35 лет.

Весь этот день я зарывала трупы, и мои слезы смешивались с каплями дождя. Ночь прошла тревожно. Женщины спали на полу вповалку, тесно прижавшись друг к другу. Среди них спала и я. Несколько раз приходил ночью румынский солдат. Женщины прогнали его. Кое-как дождались мы рассвета, и утром я пошла дальше к фронту, только к фронту!

Я шла пыльными, однообразными дорогами. Они были почти безлюдными, редко появятся вдали одна-две фигуры и молча пройдут мимо меня. Население ушло из прифронтовых деревень или было выведено немцами, а сейчас, после боев, постепенно начинает возвращаться в свои деревни. Многие найдут только груду пепла на месте родного дома. Я видела сожженные деревни. Стоят на пепелище только русские печи, над ними трубы, и это все, что осталось от селения. Иногда пробежит между развалин осиротевшая, одичавшая кошка, да валяется в стороне какой-нибудь уцелевший предмет хозяйства.

Не помню, как и где, но встретилась в пути я с группой молодых девчат, разговорилась с ними, поняла, что они бывшие медсестры. Так же, как и я, они попали в окружение, избежали плена и сейчас шли к фронту. Я присоединилась к их группе.

На одном из перекрестков сельской дороги встретился нам по виду крестьянин с палкой и мешком за плечами, бородатый человек лет 50-ти. Мы спросили его, в каком направлении находится деревня Гаражовка. А на мой вопрос, куда он держит путь, вдруг неожиданно широко, добродушно улыбнулся и звучно, с большим чувством произнес: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать».

Я была потрясена тем, что он как будто угадал во мне человека, причастного к искусству, способного чувствовать язык поэзии. Долго я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Кто он? Сельский учитель? Партизан? Художник? Не знаю. Но необычность этой встречи взволновала меня. Какое мгновение! Война, чужие дороги, неведомое будущее, все вокруг враждебно, страшно, и вдруг – поэзия Пушкина из уст прохожего, возникшая как привет друга.

Дороги, дороги, поля… а вот и холм. Мы поднялись на него и остановились, потрясенные.

Вся земля была покрыта телами убитых, мы медленно спустились с холма в долину и пошли, в великой тишине, мимо тех, кто отдал свою жизнь. На холме – командир. Казалось, он спит, лежа на спине и раскинув в стороны руки. Вот девушка, она в военной форме, на шее цветной шарфик. Ветер шевелит его концы и завитки светлых волос. Молодая, красивая… Возле сгоревшего танка два обугленных танкиста, их динамичные, трагические позы говорят о страшных предсмертных муках.

Мы онемели от всей этой картины. Скорбь сжимала горло. Молча мы вышли из этой долины смерти и не скоро обрели дар речи.

Почему же тела только наших воинов там лежали? А где же трупы немцев? Ответ мог быть только один: после боя немцы зарывали трупы своих воинов, а наших должно было хоронить местное население. Создавалось впечатление, что немецкая армия не несет потерь.

А вот возле дороги – перевернутая автомашина, из которой вывалилась целая гора медикаментов, ваты, бинтов, а рядом, наполовину погруженное в глубокую лужу меховое одеяло. Я оторвала кусок от него, и эта коричневая овчина в дальнейшем так хорошо служила мне. На ней приходилось и спать, и укрываться ею. Я пронесла ее через все мои скитания и даже впоследствии, уже в Москве, сшила из нее себе зимнюю шапку.

Многие вещи таят в себе сложнейшие биографии.

Мы шли в Гаражовку. По слухам, там близко фронт. С нами плелась маленькая собачка, пристала по дороге. Она придала нашей группе домашний характер. У одной из девушек нашлась какая-то потертая бумажка с немецкой печатью. Наш беспечный вид и эта печать сделали свое дело. Безграмотный румын, охранявший вход в деревню, поверил, что мы ходили искать пропавшую корову и возвращаемся домой. Пропустил нас. Как помню, там две деревни – Большая и Малая Гаражовка. Одна продолжала другую и заканчивалась рекой Донец. Кое-как мы расселились по хатам у добрых людей. Не вдруг это и не просто было, но все же удалось. Затаились. Старались поменьше

попадаться на глаза местным жителям. К счастью, староста в момент нашего прихода отсутствовал.

Хозяйку, приютившую меня, звали Мария Бурова. Муж ее был на фронте, она жила одна с двумя детьми – мальчиком лет девяти и годовалой девочкой. Делила со мной последний кусок хлеба и не побоялась дать мне приют и ночлег. В благодарность я нянчила ее дочку и помогала по дому. Сойти мне за украинскую крестьянку было трудно. Говорила я по-местному плохо, а когда Мария попросила растопить печь, обнаружила полное свое неумение. Конечно, она поняла, что я городская, но не досаждала вопросами. Вероятно, догадалась, что я одна из тех, кто попал в окружение.

Изба Марии находилась в центре деревни. По утрам я брала на руки ее дочку и выходила с ней на улицу погулять, а сама разглядывала расположение деревни, пыталась подойти поближе к реке, но всегда румынский часовой гнал меня обратно. К реке подходить не разрешалось, а как раз она притягивала к себе всех нас.

Деревня стояла на пригорке, под ним расстилался прибрежный луг, а дальше, прикрытая деревьями, была желанная река. За рекой Донец в лесу находились наши части. Все убеждало в этом: и усиленная охрана берега, и застывшая фигура румынского офицера, прильнувшего к полевому биноклю, когда ежедневно, спрятавшись за стволом ивы на краю деревни, он часами наблюдал за лесом, и ежевечерние выстрелы румын в том же направлении, а особенно случай, невольной свидетельницей которого я однажды оказалась.

Гуляя с девочкой, вдруг услышала крики, выстрелы. Смотрю, по лугу от деревни бежит к реке наш военный. Его белая рубаха распахнута на груди, рукав порван, похоже, он силой вырвался из чьих-то рук. Бежать за ним румыны не решились, их пули его не достали. На моих глазах спасался человек и, вероятно, спасся. Хотелось верить, что он благополучно переплыл реку и вернулся к той жизни, о которой мы непрестанно мечтали. Вероятно, так и было.

Вечером я рассказала об этом случае своим попутчицам. Две из них, шустрые, бывалые девчонки, приняли решение ночью переправиться через Донец. Предложили мне присоединиться к ним. В то время я едва умела держаться на воде и быстро выбивалась из сил. А ведь предстояло в одежде бесшумно переплывать речку, ширину которой нам не удалось установить. Эти обстоятельства порождали неуверенность. В самом деле, одно мое неловкое движение, малейший шум (а он был неизбежен при моей неподготовленности) мог завалить весь план. Я могла крепко подвести девчонок. Схваченные румынами, они понесли бы суровое наказание. Видя мои колебания и узнав их причину, они категорически отказались брать меня с собой. Я не могла винить их за это.

Наступила ночь, я часто просыпалась, думая о затеянном, желая его осуществления. Утром у колодца я услышала разговор двух крестьянок. Одна сообщала другой, что ее жилички внезапно исчезли. Вечером легли спать, а утром их не оказалось. Куда делись – неизвестно!

Я-то знала, куда они делись! Больше мы их не видели. По-видимому, они перебрались к нашим. Как я им завидовала! И как ненавидела себя! Их пример послужил толчком к действию, придал всем оставшимся решительности. После тяжелых раздумий я созрела для безоговорочного риска. Договорились следующей ночью собраться в ближайшей к реке хате и оттуда переправляться через Донец. Разработать план действий не было возможности. Мы не имели сведений, в каких точках расположены на лугу окопы охраны, но что они существуют там, мы знали. Через луг предстоит ползти до реки. Место открытое, спрятаться негде. Все эти обстоятельства усиливали опасность. Но отказаться от намеченного было уже невозможно.

Наступил вечер. Я собрала свой узелок. Простилась с Марией. Она все поняла. В темноте удалось благополучно проскользнуть к месту сбора. В полутемной хате кроме нас были какие-то мужчины, по-видимому, переодетые красноармейцы. Обстановка была весьма напряженная. Хозяйка выпроваживала всех нас, боясь проверки, мы не дождались полной темноты. Наконец, еще не зная, с чего начать и что предпринять, мы вышли из хаты, и тут же я услышала из-за леса отдаленный, постепенно усиливающийся рокот приближающегося самолета. Вот он смутно обозначился над верхушками прибрежных деревьев. Мы узнали наш самолет, «кукурузник».

Какая паника началась у румын! Они высовывались из своих окопов, как суслики из нор, что-то кричали друг другу, палили их винтовок в воздух. Мы, как зачарованные, смотрели на самолет. На бреющем полете он пересек луг и скрылся за деревней.

Невозможно передать чувства, переполнявшие нас. Это была и радость встречи, и горечь разлуки, и смятение, и растерянность – все вместе в один этот миг. А надо было не переживать, а действовать! Действовать! Ведь наступил момент для осуществления нашего замысла. В шуме выстрелов надо было проскользнуть на луг, припасть к земле и поползти к реке. Но момент для действия был упущен. Румыны овладели собой, заметили нашу группу в недозволенном месте и повелительными криками погнали нас обратно в деревню. Пришлось подчиниться.

Я не решилась постучать в свою хату, залегла в сарайчике на земле и, конечно, всю ночь не сомкнула глаз, наша неудача не давала мне покоя.

Утром увидела взволнованную Марию, она шепнула, что по деревне начался обыск. Приехавший староста ведет по хатам румын и вылавливает всех, кто пришел после окружения в Гаражовку.

Я вырвала из своего паспорта листок со штампом «Москва, Центр, Театр Красной Армии», спрятала его в узелок, смастерила подобие прописки в городе Харьков (дескать, я из этих мест), и тут пришли и арестовали меня.

Всех нас загнали в одну большую хату, вероятно, бывший клуб, и начали составлять списки. Мой изуродованный паспорт не вызвал осложнений: у других не было и такого. Я посмотрела вокруг. Оказывается, человек сорок собралось за эти дни в Малой Гаражовке. В мужчинах угадывались переодетые красноармейцы, в женщинах – медсестры, радистки, связистки… Бросалось в глаза ярко-красное платье одной из них. Это была полная, коротко

стриженная блондинка, фигура которой была искажена зрелой беременностью. Ее кричащее платье, казалось, было наспех сшито из первомайского стяга и резко выделялось на фоне серой толпы, неумолимо подчеркивая то состояние организма, которое обычно женщины стараются маскировать. Трудно было понять, как в таком положении эта женщина среди нас, то есть среди тех, кто был на фронте, попал в окружение и пришел в Гаражовку, чтобы вырваться с оккупированной территории.

Нас вывели под конвоем из хаты. В толпе жителей, стоявших на улице, мелькнуло лицо плачущей Марии. Добрая женщина, вероятно, провожала нас на расстрел. А нас отгоняли в тыл, значит, румыны ждали наступление Красной Армии! Как тяжко было нам удаляться от линии фронта!

На привале была раздача хлеба. В стороне от нашей группы я заметила румынского офицера, который задумчиво разглядывал нас, небрежно опершись на соседний плетень. Изящная фигура, тонкое лицо, щегольская форма и *стек* в руке, которым он слегка похлопывал по своим высоким ботинкам, все это было таким контрастом с тяжелой, полной горя и лишений военной действительностью. Я украдкой наблюдала за ним. Поза офицера беспечная, как на приятной прогулке, но выражение лица задумчивое и даже с оттенком печали. Он смотрел на нас, изучая, и как будто жалел нас, испытывал сочувствие к нашей беде, и вдруг, задержав свой взгляд на мне, жестко подозвал к себе. Я подошла. Он взял мою руку, перевернул ладонью вверх, внимательно посмотрел на нее и как бы про себя сказал: «Интеллигент!» Вот оно что! А я-то думала, что замаскирована блестяще!

Потом был длинный путь до вечера. В темноте нас загнали на ночевку в амбар, уже наполовину заполненный людьми. Тут я и встретила тех молодых женщин, которые сделали мне много добра и с которыми я некоторое время была тесно связана узами дружбы. Прошло 30 лет с тех пор, но благодарные воспоминания о них не тускнеют.

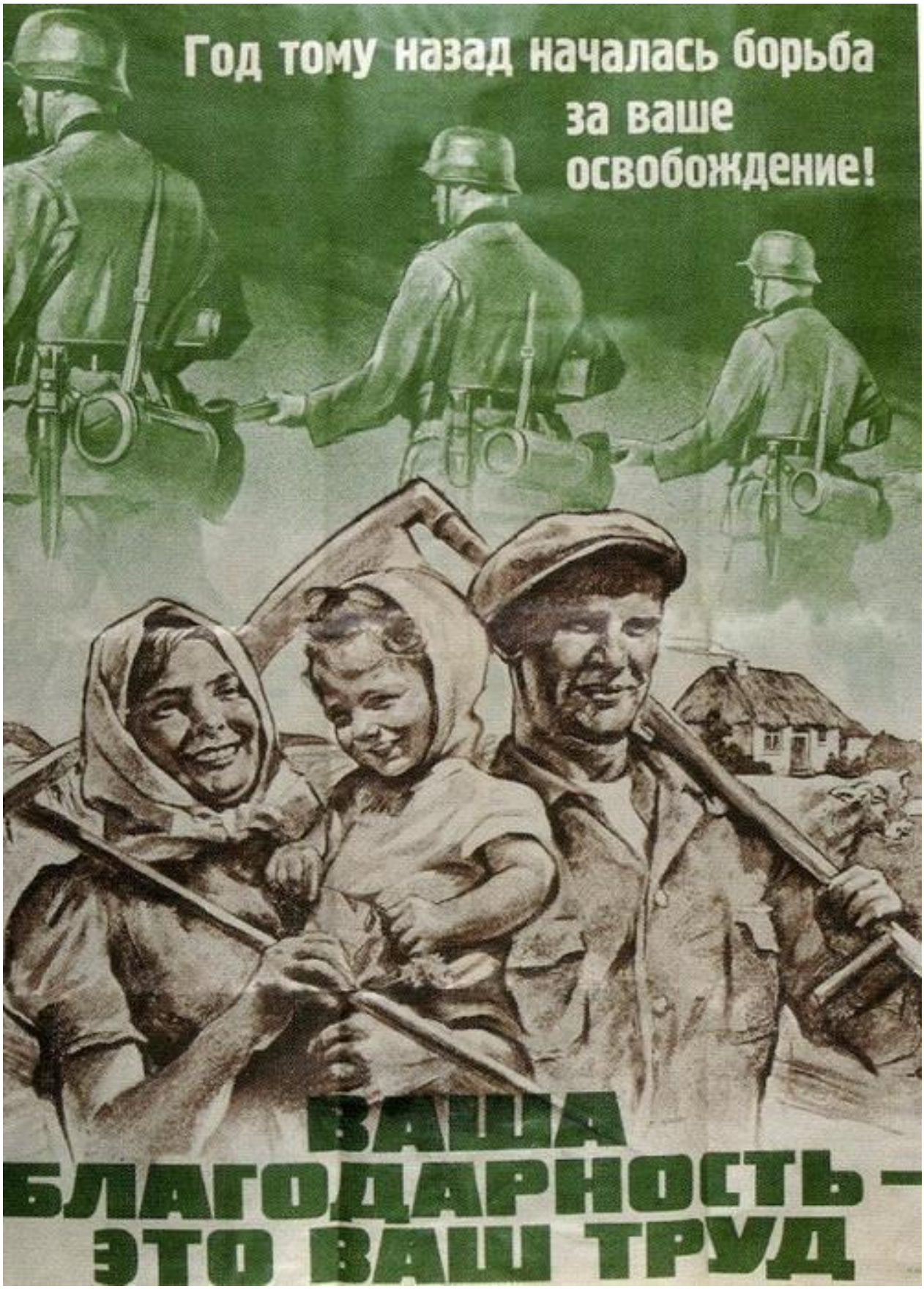
Не помню, с каких слов началось наше знакомство. Знаю только, что после бессонной ночи в амбаре, где рядом со мной легла на земляной пол та самая, замеченная мною Мария в своем нелепом красном платье, прошептавшая мне на ухо всю ночь воспоминания о своей громадной фронтовой любви, от чего мне делалось душно, и жалость к Марии смешивалась с чувством брезгливого раздражения.

Наконец наступило утро. Мы вышли на солнечный воздух, чтобы идти под конвоем дальше в тыл, и тут я обратила внимание на двух девушек. Держались они в стороне от других и деловито о чем-то тихо переговаривались. Оценивающими взглядами время от времени они охватывали окружающую их толпу. Одна – высокая, статная, черноглазая красавица, брюнетка лет 18–20, типичная «Наталка-Полтавка». Другая – маленькая, подвижная блондинка, неяркой внешности, постарше первой. В пути они оказались рядом со мной. У нас возник нащупывающий друг друга разговор. Выяснилось, что я тоже была ими выделена из общей массы, и не случайно они приблизились ко мне.

Обе они были в каком-то активном, приподнятом состоянии, что так контрастировало с общей тупой подавленностью. Выражалось это в их шутливом, доброжелательном разговоре со мной. Я не сразу им

открылась, так же как и они мне. Но на мой вопрос: «Кто вы?» – маленькая блондинка, загадочно улыбнувшись, ответила: «Артистки». Сразу можно было понять, что это вымысел, в который она даже не пытается заставить меня поверить. Я насторожилась: «Уж не разгадала ли она, кто я?» Но вскоре поняла, что нет, ответ блондинки возник просто как уклончивая шутка. Однако выбор именно этой профессии показался мне знаменательным и повысил мой интерес к нашему сближению.

Маленькая назвалась Надей, высокая – Пашей.



Германская пропаганда в действии.

Всех нас румыны расселили по нескольким деревням без права самовольного ухода в другое место. Втроем мы попали в хату гостеприимных, хлебосольных стариков – мужа и жены. Мы сели за стол, на котором были холодное молоко, хлеб, гора горячих вареников с творогом и даже густая сметана. Не сон ли это? Ночевали на сене, покрытом чистым рядном. Вместо хозяев днем мы работали на свекольном поле. С непривычки я доходила до полного изнеможения, но вкусная, обильная пища быстро восстанавливала силы. Так продолжалось дней пять и вдруг оборвалось.

Неожиданно с маленькими детьми и ручной тележкой, нагруженной вещами, к ним пришли родственники из Харькова! Наше блаженство кончилось. Переселили нас по два человека к другим хозяевам. Меня разлучили с Надей и Пашей, и попала я в общество Марии к старику-бобылю. Скупой ли, бедный ли, но кормил он нас только хлебом и молоком. Был как немой, ни слова мы от него ни разу не слышали. По-видимому, очень досаждали мы ему своим принудительным присутствием, не знал он, как избавиться от нас. Не так уж, видимо, была нужна ему моя работа в поле, как желал он с нами расстаться.

Эти дни вспоминаются мне как унылые, безнадежно-тоскливые: не в том дело, что я очень уставала и жила впроголодь, а в том, что моя сожительница была всегда унылая, жалующаяся на свое тяжелое положение женщина, претендующая на то, чтобы мы ее спасали, требующая от нас каких-то безотлагательных действий. Она доводила меня до отчаяния. Ей действительно было тяжело и страшно в таком положении оставаться на оккупированной Украине. Я

это понимала. Но и всем было несладко. Перспектива перебраться через линию фронта далеко отодвинулась от нас. Мы были заперты в этой деревне. Требовалось какое-то время, чтобы разобраться в создавшейся ситуации и снова начать действовать. А Мария, взваливая на меня груз своих переживаний, была бесцеремонна и эгоистична. Сожительство с ней было для меня моральной мукой. Каким мрачным контрастом была она по сравнению с Надей и Пашей!

Так прошло недели две. Немцы не выпускали нас из деревни. С темнотой все затихало, ходить по улице не разрешалось, за нарушение – расстрел.

Тем не менее, все взвесив и кое-что разузнав, мы собрались бежать, догонять удаляющийся фронт. Помню, как наметили одну из ночей. Бесшумно прокрались в комнату, где спал хозяин, взяли краюху хлеба, вылезли из хаты через окно. Впереди под луной белела дорога и плотина. Вокруг полное безмолвие и тишина. Как в холодную воду, бросились мы бежать по дороге. От страха душа ушла в пятки. Перебежали плотину, вошли в тень кустарника. Ждали долго Надю с Пашей, но они не пришли. Мария уговаривала меня бежать из деревни вдвоем, но я не согласилась. Надо было возвращаться. Уже не было пережитого страха, а только подавленность и усталость. Опять дорога и плотина, освещенные луной, через окно влезли в хату, положили на место краюху хлеба и легли спать на свой жесткий топчан. Днем узнали, что в ту ночь у хозяев Нади и Паши кутили староста и немцы. Выйти моим подругам к условленному месту было невозможно.

Так сорвался наш побег.

По полученным сведениям, фронт отошел далеко, вторично рисковать нам не было смысла, да к тому же через 2–3 дня всех нас и отпустили. Свобода пришла тогда, когда ею уже нельзя было с успехом воспользоваться.

Мы вышли из деревни группой человек девять-десять и вскоре решили остаться втроем, отделиться от остальных, т. к. считали, что любое мероприятие обречено на провал при подобной численности. Собрали всех, объявили о своем решении и ушли. Вдогонку сыпались на нас проклятья Марии, обвинения в измене и даже в том, что мы, вероятно, собираемся остаться с немцами и служить им.

В садах Украины поспевает вишня, лето в разгаре. На пригорке возле дороги сидим мы – Надя, Паша и я. Со стороны может показаться, что мы местные крестьянки, такова наша одежда. Сидим и мирно разговариваем, но это только видимость. Мы ведь ряженые, мы в пути, нам нужно перебраться через линию фронта. Шли целые дни. Устали. Вечереет. Хочется сближения.

Вот тут мы наконец и открываемся друг другу. Надя – разведчица, Паша – связная.

Самолет доставил Надю на оккупированную Украину. Ночью она благополучно приземлилась на парашюте в лесу, пошла к сброшенной рации, но услышала голоса. Рация была обнаружена немцами. Наде удалось уйти незамеченной. Где-то в заранее условленном месте ее встретила Паша, являвшаяся связной и проводником. Вместе они пошли к линии фронта. По дороге их задержали румыны, погнали в тыл и так же, как и меня, поместили на ночлег в тот амбар.

Я рассказываю о себе. Читаю им свой фронтовой концертный репертуар. Мы полны решимости идти и идти, пока не переберемся к своим. Ведь наши близкие ждут нас.

Но скоро вернуться нам не удалось, а сколько было попыток! Приближались к фронту, иной раз совсем были у цели, но неизменно румыны, державшие передовые линии, отгоняли нас в тыл. Много дорог прошли мы вместе. Паша знала эти места и уверенно вела нас от деревни к деревне. Обе молодые женщины очаровали меня своим обаянием, оптимизмом и сердечностью. Меня восхищала находчивость Нади. Она не раз выручала нас из опасных положений. А ее способность быстро налаживать контакты с людьми была просто поразительной.

Вот пример: один раз мы благополучно прошли через какую-то деревню, но у самого выхода из нее дорогу нам преградил подвыпивший староста, стал расспрашивать, откуда и куда мы идем, а потом вдруг, внезапно изменившись в лице, в панике завопил: «На помощь! Партизанки! Партизанки! Держи партизанок!» Мы пытались успокоить его, но наши объяснения его не останавливали. Вцепившись в нас и продолжая звать немцев, он был в невменяемом состоянии. Что делать? И тут я стала свидетельницей таланта Нади. Спокойно, вразумительно и тихо она стала объяснять старосте его ошибку, ловко экспромтом сочинять нашу историю, даже шутила с ним, даже вроде бы сочувствовала его панике. Наконец показала ему какой-то «липовый» пропуск, и негодяй на наших глазах стал меняться, приходить в себя. Закончился этот опасный эпизод тем, что староста пожелал нам счастливого пути! Потрясающе! А ведь мы были на

волосок от большой опасности. Если бы не Надя, нас, возможно, замучили бы немцы! Вот какова была Надя Беребень!

Паша привлекла красотой, ровным характером и доброжелательностью. В ней чувствовалась здоровая, сильная натура. Однажды она рассказала нам, что перед войной принимала участие в одном из спортивных праздников в Москве, изображала Украину. В национальном костюме стояла где-то в поднебесье на каком-то колышущемся сооружении. Полученный орден Ленина она закопала перед приходом немцев в землю возле хаты своих родителей в селе Чапаевке.

Во время наших странствий мы зарабатывали свое пропитание работой в огороде или в поле. Иной раз Паша начинала гадать на картах, превращаясь в настоящую цыганку, и довольные ее предсказаниями крестьянки несли нам молоко, хлеб, яйца.

Почти по всем деревням, за редким исключением, стояли не немцы, а румыны. У меня создалось впечатление, что они не бесчинствовали так, как бесчинствовали немцы. Я не видела, чтобы румыны обливали друг друга водой и после этого разгуливали абсолютно голыми по улицам деревень, как это часто делали немцы, не признававшие украинцев за людей, или чтобы гонялись за гусями и курами с дикими криками обезьяноподобных. Может быть, мне просто везло в этом смысле, а может быть, это действительно было так.

В конце концов мы, женщины, были совершенно беззащитны. Никто не заступился бы за нас, вздумай румыны нас обидеть. Однако этого не произошло.

Один только раз я испытала настоящий страх. Было это в самом начале, когда только что вырвалась из плена и пробиралась одна к линии фронта. Шла полевой дорогой, и вдруг вдалеке с косогора раздался смех, свист. Группа румынских солдат что-то мне кричала, махали руками, а один из них бросился ко мне бежать под усиливающийся смех своих товарищей. Я поняла, что мне угрожает, и метнулась в сторону, где были густые заросли кустов, добежала туда, проползла в колючую гущину и замерла там, еле дыша. Поленился ли искать меня этот румын, или совесть заговорила в нем, только он бросил меня преследовать и, далеко не добежав до кустов, вернулся обратно. Румыны о чем-то спорили, потом их голоса стали удаляться и наконец совсем затихли. Убедившись, что они ушли, я вышла из своего убежища и пошла дальше.

Второй случай был значительно позже, когда мы шли уже втроем. В одной деревне под вечер произошел разговор с румынскими офицерами, которые заинтересовались, кто мы такие и куда идем, все вылилось в требование переночевать с ними. Видя, что мы сопротивляемся, один из них перешел к угрозам, стал пугать, что запрет нас в сарай и вызовет немецкого коменданта для выяснения наших личностей. Ничего не стоило приписать нам связи с партизанами и разведывательную деятельность. Становилось опасно. Мы продолжали держаться спокойно, но на душе было очень тревожно. Приветливо улыбаясь, мы незаметно перевели разговор на семью. Спросили, есть ли у них дети... и постепенно под влиянием этой темы офицеры стали из скотов превращаться в людей. Мы ночевали в сарае, но

немецкий комендант не был вызван, и ни один из румын нас не потревожил.

В другой деревне Надя даже пошла к офицерам в гости на разведку. Узнала о положение на фронте. С ней обращались уважительно и не позволили себе никакой грубости. Мы с Пашей, признаться, беспокоились, как пройдет Надин визит. Но все обошлось благополучно. Вернувшись, Надя сообщила, что на днях ожидается наступление наших. Надо было во что бы то ни стало задержаться нам здесь. Это была последняя наша надежда. Я сказалась больной, и таким образом мы застряли на несколько дней.

Приходил к нам поболтать румынский офицер. Я даже говорила с ним по-французски. Мои лохмотья его не удивляли. Мы объяснили, что пережили пожар, в бомбежке все сгорело, и теперь идем к отцу Нади в город Купянск. Мы действительно туда собирались.

Прошло несколько дней, но… наступление Красной Армии не состоялось. Фронт прошел стороной. Последняя надежда оставила нас. Блуждания наши не приблизили нас к желанной цели. Надя начала нервничать. Кончился лимит времени для ее задания. Так я поняла из ее скупых высказываний. Она вытащила из резинок своего пояса листочки папиросной бумаги с микроскопическими записями и сожгла их, говоря, что теперь они уже потеряли свое значение и могут только подвести ее.

И предложила нам новый план действий, новый маршрут: Паша и она едут в Киев, в подпольный центр сопротивления, а я должна отправиться к матери Паши в село Чапаевку, чтобы дождаться возвращения последней из Киева.

Двинулись на Купянск. К вечеру были там. Осторожно постучались в один из домов. Нам открыл дверь пожилой мужчина, которого Надя назвала отцом. С ним она долго о чем-то шепталась. Заснули мы на дивной перине, на полу, и впервые за долгие недели безмятежно окунулись в глубокий сон. На рассвете двинулись дальше. Помню вокзал Изюма Товарный поезд. Мы едем «зайцами» в пустом вагоне. Без Паши и Нади я бы ни за что не решилась это сделать! Прибываем в Полтаву.

Вот с Полтавы и начался новый этап моего существования. Милые мои подруги дали мне несколько советов да старое зимнее пальтецо (как оно потом меня спасло!). Паша просила меня скрыть от ее матери, при каких обстоятельствах я с ней встретилась. Пожелали мы друг другу удачи и расстались.

Помню первую минуту моего одиночества. Незнакомый вокзал незнакомой Полтавы. Малолюдно, знойно, пыльно. Чахлые акации уныло высыхают на солнцепеке. Издалека доносится лающая немецкая речь. Безысходная тоска охватывает меня. Пытаюсь освободиться от нее и найти душевное равновесие. В самом деле! Нечего киснуть! У меня есть еще маленькая связь с покинувшими меня подружками, я поеду в Золотоношу, в деревню Чапаевку, к Оксане Федоровне и подожду у нее возвращения Паши, Не так уж все плохо складывается. У меня будет крыша над головой. Я укроюсь от опасности.

Договариваюсь с водителем попутного грузовика, довозит он меня до Чапаевки. Спрашиваю ребятишек, где хата Оксаны Федоровны

Пилипенко. Вхожу в нее. Мать Паши, нестарая женщина, живет одна. Отец Паши – в партизанах. Я нескладно вру Оксане Федоровне, что знакома с Пашей по Киеву, но слишком мало знаю подробностей для того, чтобы мои ответы удовлетворили законное любопытство матери и чтобы она с доверием отнеслась ко мне.

День проходит напряженно. Я всегда испытываю отвращение к лгущим людям, у меня нет навыка даже для необходимой, даже для «святой лжи». Естественно, что Оксана Федоровна замечает мое замешательство и не знает, за кого меня принимать. А тут еще староста на следующий день спрашивает Оксану Федоровну, что это за женщина пришла к ней. При рассказе об этом лицо у нее встревоженное. Есть от чего! Ведь ее муж – партизан. Не в радость ей мой приход. Опасно мое присутствие. Она не гонит меня, но я чувствую, что я в тягость ей. Не в моем характере навязываться. Должна я освободить ее от возможных опасных осложнений, должна я уйти.

И я ухожу. На рассвете прощаюсь с ней. Она меня не задерживает.

Вот так была оборвана последняя связь, последняя опора, последняя моральная поддержка. Я осталась опять одна, как тогда, в первые дни после побега из плена. Одиночество на оккупированной врагами земле особенно тяжело, если наступает оно внезапно, если рядом нет не только друга, но даже просто знакомого, если для всех ты чужой, неведомо откуда пришлый человек, каким оказалась я. Одиночество тогда охватывает, как тяжкая болезнь. С каждым днем моральные и физические силы убывают, нервная

система истощена от постоянного ощущения опасности, неуверенности в своем существовании, полной беззащитности, и человек становится похожим на загнанного, отовсюду гонимого пса, который попал в незнакомую, враждебную обстановку и мечется в поисках любимого хозяина или безостановочно бежит, бежит в далекие, родные края.

Я метнулась в Золотоношу.

Город как будто вымер. У домов на лавочках не сидят говорливые старушки, нигде не видно бойких украинских женщин, не слышно веселого смеха молодежи. Двери домов заколочены или наглухо закрыты, окна занавешены. Вероятно, правду сказала мне встречная женщина. Город парализован зверствами карательных отрядов. Она рассказала мне о том, что идут аресты партийцев, комсомольцев и всех, кто вызвал малейшее подозрение в причастности к ним. Арестованных содержат на территории, окруженной высоким забором, и ночами из-за города слышны залпы расстрелов. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что я видела этот высокий забор и заплаканные лица женщин, стоявших возле него с передачей для своих близких, но, по-видимому, это не так. Вернее всего, эта скорбная картина возникла только в моем воображении, только мысленно, но настолько ярко, что стала для меня реальностью.

Целый день я прослонялась без цели и смысла по Золотоноше. Слышала обрывки тревожных разговоров редких прохожих, ощущала всеобщую подавленность и не понимала, что мне надо предпринимать. В этой зловещей обстановке я не могла рассчитывать на чью-либо поддержку, уходить же отсюда не считала

возможным, думала, рано или поздно встретимся с Пашей.

От голода и усталости меня охватывало полное безразличие, какое-то отупение, апатия. Хотелось прилечь где попало, закрыть глаза, не быть. Время перестало существовать. В полутьме просидела я перед каким-то домом, из которого слышался стук молотков и раздавались молодые голоса. Зашла туда. Это была сапожная мастерская. Видя мое бедственное положение, один из мастеров безвозмездно прибил отвалившуюся подметку моего ботинка и заодно посоветовал пойти на биржу труда. Мне и в голову не приходило, что на оккупированной территории могут быть подобные учреждения.

Посетителей на бирже принимал немец в военной форме. Рядом с ним молодая, строгая русская. Я не решилась быть с ней откровенной. Если работает с немцами, значит, мой враг. В то время я только так и думала. Неуверенно я что-то врала о себе, отвечая на их вопросы, и уже была готова к тому, что меня сейчас схватят и толкнут туда, за тот высокий забор... Но этого не случилось, а получила я направление в подсобное хозяйство дома престарелых. Мой паспорт немец положил в ящик своего стола. Это меня обеспокоило, но я решила, что, вероятно, таков порядок.

С этого дня я стала работать. Сперва на уборке картошки, потом ячменя. Научилась вязать колючие снопы. Спала в конторе, за работу получала скудное питание в общей столовой. Через несколько дней эта работа кончилась.

Я вернулась на биржу труда за новым назначением. Там было большое оживление. Как я поняла,

производилась какая-то регистрация. Когда подошла моя очередь и последовало выяснение личности, немец вынул из ящика мой паспорт, посмотрел его, вернул мне, что-то сказал переводчице, и меня внесли в списки. «Нах Дойчланд», – услышала я. Это была мобилизация рабочей силы для отправки в Германию, обязательная трудовая повинность.

Первая мысль была: бежать! Но куда? К кому? Стучаться в чужие дома? Кто примет меня в этой опасной обстановке? Даже к Оксане Федоровне я не смела вернуться. К тому же я была настолько физически истощена, что не было сил что-то предпринимать. Не было для этого и времени: во дворе биржи уже формировались подводы с отъезжающими.

Круг обстоятельств стремительно сомкнулся.

В состоянии тупой обреченности я заняла указанное мне место на подводе. Рядом сел немецкий солдат. В последнюю минуту я написала несколько строк на клочке бумаги для Паши. Женщина из Чапаевки обещала передать эту записку.

Нас повезли к поезду.

Я плохо помню последовательность дальнейшего. Бывают мгновения, когда человек так подавлен, что на время как бы глохнет и слепнет. Помню себя уже в товарном вагоне. Он переполнен людьми. Вокруг и слезы, и смех, молодые голоса. Эта рабочая сила хорошо одета. Девчата и парубки едут в Германию из своих семейных, родительских домов. Многие запаслись корзинами и чемоданами с носильными вещами и домашним питанием.

Я, пожалуй, единственная без вещей, в ветхой одежде и с пустым желудком. Все, что есть у меня ценного, – это паспорт и доставшееся от Нади пальто, которое не даст мне страдать от холода, а паспорт не позволит стать «человеком ниоткуда», призраком, нереальным существом, каким временами я начинала себя чувствовать.

Поезд увозил меня на Запад.

Каждый вагон охранялся одним-двумя немецкими солдатами. На остановках лязгали тяжелые засовы раздвигаемых дверей, и на чистые тихие перроны станций лавиной вываливалась вся наша масса восточных рабов. В гуле множества голосов, в мелькании людей, спешащих напиться, оправиться или просто размяться, создавалось ощущение какого-то взрыва, чего-то нового, дерзкого, опасного для местных жителей.

Особенно остро чувствовалось это на территории Германии. В глазах добропорядочных немецких мещан мы были варварами, и наши вылазки на их мирные станции расценивались ими, вероятно, не менее как набег войск Чингисхана или Батыя. Те из них, которые в момент остановки нашего состава оказывались на перроне, шарахались в сторону и где-то из укромных уголков со страхом, любопытством, а то и с брезгливостью неотрывно смотрели на нас, на всю эту хаотичную, стихийную суету. Сигнал на посадку загонял всех нас обратно в вагоны, а станция после нашего набега становилась неузнаваемой. На перроне, покрывшимся лужами, продолжала хлестать вода из незакрытых кранов, и ветер перекатывал обрывки бумаги, окурки, разный мусор.

Можно ли винить нас за это? Везли ведь нас как скот, спали мы на полу вагонов в неимоверной тесноте, загруженность была сверх предельной нормы, нас мучила жажда, остановки на станциях были короткими.

В Перемышле нас высадили.

Разделили на мужчин и женщин, на две группы. Мы прошли медосмотр и массовую, чудовищную по деловитому бесстыдству дезинфекцию, когда нас загнали в громадные бараки, велели раздеться догола, и мы, медленно двигаясь в длинном хвосте очереди, дали себя мазать вонючей жидкостью, пока наши вещи проходили санобработку. Мазали нас мужчины, облаченные в белые халаты. Трудно представить, что они пошли на подобную процедуру добровольно. Многим девушкам было стыдно до слез, но деваться было некуда. Помазанные автоматически проходили в душевую, где вода лилась прямо с потолка сплошным дождем. Здесь две энергичные польки окриками и шлепками подгоняли отставших к выходу. Одежда ждала нас в индивидуальных сетках. Пахла она серой и не успела еще остыть. В минимально короткий срок весь состав был продезинфицирован, сказалась немецкая деловитость.

Так же деловито, массово и ритмично – страшно представить! – фашисты отправляли людей в газовые камеры.

Два-три дня мы просидели в лагере Перемышля. Помню грязные бараки с трехэтажными нарами. Я ни с кем не общалась. Оставалась наедине со своими мыслями и остатками чувств.

Потом опять поезд, и – Германия.

Здесь нас охраняли менее строго. Ехали мы с открытыми дверями вагонов, и по очереди могли сидеть на пороге рядом с солдатом. Были теплые дни конца августа. Расстилались поля и луга, очень ровные, очень чистые, разделенные проволокой на правильные квадраты. В этих квадратах пасли коров, все одной масти – черно-белой. Мелькали вдоль пути громадные щиты реклам: «Шелл», «Пеликан», «Опель», «Телефункен»... Проносились белые домики с красными черепичными крышами. У опущенных шлагбаумов на переездах скоплялись большими стаями велосипедисты. Дети, старики, почтальоны, полицейские, рабочие в синих комбинезонах, служащие и даже степенные монахини в своих громадных головных уборах, похожих на раздутые паруса, – все на велосипедах.

Такой я увидела впервые Германию. Все в ней показалось мне игрушечным, не настоящим и так не похожим на Россию. Эти земли еще не знали потерь войны.

Довезли нас до Бремена. Я вспомнила, как перед войной купила своей Катюше сказку братьев Гримм «Бременские музыканты». Кажется, было это сто лет тому назад! Здесь нас сразу же по выходе из вагона стали разделять на группы и распределять по городам, кого куда, подобие лотереи, кому как посчастливится. Кто-то произнес – «Луфт курорт» (Воздушный курорт). Что-то вселяющее доверие было в этом слове, и я, не задумываясь, двинулась к этой группе.

Рядом оказалась девочка лет пятнадцати. «Тетя, скажить, шо вы – моя мама. Я боюсь!» – услышала я тихий голос. Так Надя Сульженко, украинская девушка

из Золотоноши, стала числиться в Германии моей дочерью. Мы с ней помогали друг другу чем могли.

Из Бремена нас повезли уже не в товарных, а в пассажирских вагонах. Вагон, в который мы с Надей вошли, был типа дачного, подмосковного. Значит, есть еще на свете удобство, чистота, окна, через которые можно видеть мелькающие пейзажи, опрятные полированные диваны, с которых нас никто не сгонял... Ведь все это я почти забыла! Оно осталось за роковой чертой, разделившей мою жизнь на две половины. Никто нас не охранял. Просто ехал с нами пожилой штатский немец типа администратора. Трагические картины войны отошли назад. Судьба как бы давала мне передышку. Какие же испытания еще предстоят мне в этой чужой, неведомой стране?

Довезли нас до города Ольденбург и затем автобусом к месту нашего назначения: Фарель у Ольденбурга – общий рабочий лагерь моторного завода. Мы вышли из автобуса на шоссе. Со всех сторон был лес. Воздух был действительно курортный. Помню уютный дом на краю дороги. Из него выбежала молодая немка в экстравагантном платье, что-то спросила нашего гида, явно позируя для нас, потом лихо вскочила на велосипед и помчалась в сторону завода. Мы так осмелели, что засмеялись ей вслед. В дальнейшем открыто высмеивать немцев мы перестали.

Завод был замаскирован лесом. Лес со всех сторон обступал его корпуса. Кроме того, над крышами была протянута сетка из искусственной зелени. Все это мы увидели позже, а сейчас в конце дороги заметны были только ворота. Нас туда не повели, а сдали полицейскому и погнали в лагерь. Мы шли по шоссе,

обрамленному высокими тенистыми деревьями, за ним расстилались поля и раскинулись два крестьянских хозяйства, владельцы которых, увидев нашу группу, бросили работу и с любопытством рассматривали нас. Мы прошли мимо аккуратного домика одного из начальников завода герра Кеффеля и впереди увидели лагерь.

Здесь предстоит нам поселиться и жить долгие дни.

Лагерь. Ровная, без зелени территория, обнесенная колючей проволокой. По ее краям деревянные, одноэтажные бараки зеленого цвета, в центре – умывальная, баня, служебные помещения. Каждый барак разделен на отдельные секции с отдельными выходами. Секция – это общая комната с кладовкой, тамбуром при входе и тремя деревянными ступеньками с улицы. В комнате двухэтажные нары, два длинных стола, чугунная круглая печка-времянка и табуретки с вырезом в форме рогалика в центре сидения.

Мужчин поместили в первый барак, а нас, двадцать пять женщин, – во второй. Фасад каждого барака выглядит так: в центре два входа со ступеньками, а по бокам от них – налево и направо – по три окна.

Как только мы расселились, появился наш лагерфюрер, полицай Эмиль, глупое, грубое животное, и стал орать, чтобы мы шли набивать мешки соломой. Это были наши матрацы и подушки. Затем каждая из нас получила простыню из бязи, байковое одеяло, пододеяльник и наволочку в синюю клетку. Между нарами стояли высокие шкафики на два отделения. Такие были у нас в России в провинциальных банях. На комнату полагалось два эмалированных больших

кувшина для воды, несколько тазов для стирки, чайники, ложки и кружки по числу живущих. Все это коричневого цвета. В кладовке – щетка, швабра, тряпки, помойное ведро. Вот весь ассортимент вещей каждой «штудэ» – комнаты. Этот практичный стандарт, по-видимому, был распространен по всей Германии в лагерях подобного типа.

В непосредственной близости от задней стены нашего барака была натянута колючая проволока, и за ней ходил часовой. Мы узнали, что там помещены военнопленные французы. Иногда мы их видели из своих окон. Бараки цивильных французов находились по другую сторону двора напротив нас, а поблизости от них располагались поляки.

Первые дни мы проходили карантин, были заперты в лагере. Устраивались, мылись в душевых, убирали территорию, знакомились друг с другом, осваивали непривычные условия жизни. В громадном котле привозили нам некое, дурно пахнувшее варево из брюквы и моркови, слегка заправленное мукой. Каждый получал миску этой бурды. Девчата ругали немцев, посылали в их адрес проклятия и доедали свои домашние запасы, но вскоре последние кончились, и пришлось перейти на лагерное питание.

И вот как раз в один из этих голодных дней было мое дежурство по раздаче еды. Я стою во дворе возле котла с громадным половником в руке. Ко мне двигается очередь. Каждая женщина протягивает свою миску, я методически зачерпываю из котла варево и вливаю в нее. Вот уже подходят последние пять, четыре, три человека и... о, ужас! Я вижу, что дно котла полностью обнажилось, двум последним не хватает

еды! Я просчиталась! Немного увеличивала порцию предыдущим – случайно, не нарочно – и обрекла на голодание двух последних! Бегу в помещение, кричу: «Девушки! Остановитесь! Не ешьте! Не хватило двоим!» И вижу, как некоторые начинают быстрее хлебать из своих мисок, а одна даже пытается спрятать под стол свою еду, лишь бы не поделиться. Зрелище подобной жадности сперва ошеломляет, потом поднимает во мне бурю негодования. Не помня себя, я кричу на них как на воров. Наверное, моя горячность произвела впечатление, разбудила совесть. Самые жадные начинают есть медленнее, самые щедрые предлагают отлить из своих мисок. И вот составлены две недостающие порции, и даже я получаю кое-что. Возможно, с этого эпизода началось пробуждение товарищества, что-то сдвинулось в душе, что-то потеплело в них друг к другу.

Пока мы были свободны от работы на заводе, наш фюрер Эмиль стал совершать сделки с бауэрами (крестьянами), нуждавшимися в работниках. Вероятно, это было выгодно ему, так как он очень активно взялся за поставку бесплатной рабочей силы. Назначил и меня. Пожилой, тучный немец повез меня и поляка на своей телеге в глубь леса. Высадил нас возле красного кирпичного дома, а сам куда-то исчез. Нас окружал дремучий лес, по-осеннему тихий, без птичьих голосов, шелеста ветвей. У меня было ощущение сказочности. Если бы из дома вышла Баба-Яга, я бы не удивилась. Но вышла вполне реальная пожилая немка и довольно приветливо поманила нас в дом. Она дала понять, что от нас требуется. Я должна была убрать помещение кухни, лестницу, вымыть посуду. А поляк – очистить конюшню и нарубить дрова.

Впервые я находилась на такой кухне. Пол ее был выложен плоскими натуральными камнями неправильной формы, у одной из стен – большой, закопченный очаг, внутри которого на цепях висит медный котел, деревянная лестница ведет наверх в жилые комнаты, на ней у бокового оконца стоит громадная бочка с каким-то жидким химическим раствором. Заглянув, я увидела, что в него погружены куриные яйца, меня ошеломило их грандиозное количество. Различная старинная кухонная посуда висит на стенах и стоит на полках. Она поблескивает красной медью и кое-где уступает место тяжелым фаянсовым мискам и высоким пивным кружкам. Окна кухни, маленькие, глубокие, смотрят в лес. Дневной свет скупо проникает оттуда в помещение и окрашивает все внутри в зеленоватые тона.

Я принялась за уборку. Поляк ушел в конюшню. Провозились мы часа три. Нас на славу накормили, и крестьянин отвез нас обратно в лагерь.

Поездка эта внесла разнообразие в серенькую, монотонную лагерную жизнь. Я увидела кое-что новое, побыла несколько часов в атмосфере мирного крестьянского быта Германии. Очень он был своеобразен, интересен, будто я посетила один из разделов этнографического музея, где меня к тому же отлично еще и накормили!

В эту ночь, впервые сытая, я спала особенно крепко, сны были светлые и пробуждение спокойное. Это было непривычно и отрадно. Ведь когда я бродила в «западне» по Украине и спала где попало, сон уносил меня из суровой обстановки неустроенности и опасности в спокойный, привычный мир родных,

желанных образов, а вот пробуждение всякий раз приходило как тяжелое наказание. Всегда было так: вот сон отошел, я еще лежу с закрытыми глазами, еще не рассталась с ощущением домашнего тепла, уюта, покоя, радости, а уже в состоянии нарастает тревога, сигналы опасности возникают в мозгу, в полусне я начинаю задавать себе настойчивые, торопливые вопросы: «Что? что? что со мной?», открываю глаза, осознаю действительность, и… ужас сжимает мое сердце. Эти мучительные пробуждения забыть невозможно.

А в Германии долго мне снились трагические картины плена, вой и грохот авиабомб, смерч огня той роковой атаки, метание армии в окружении и… самое горькое – бесконечный поток пленных. Длинная темная вереница измученных людей бредет по знойному тракту. Ей нет конца, нет начала – тут я обычно начинала во сне плакать и просыпалась. А теперь, очевидно, наступил в моем самочувствии перелом. Нервное напряжение, в котором я находилась три месяца, начало ослабевать. Наступила новая полоса жизни. Она была безрадостная (какая уж тут радость!), однообразная, во многом морально тяжелая, но она была с определенными контурами, доступная пониманию, стабильная. Кончились мои скитания, кончились подстерегающие на каждом шагу опасности, кончилась моя собачья загнанность. А главное – кончилось одиночество.

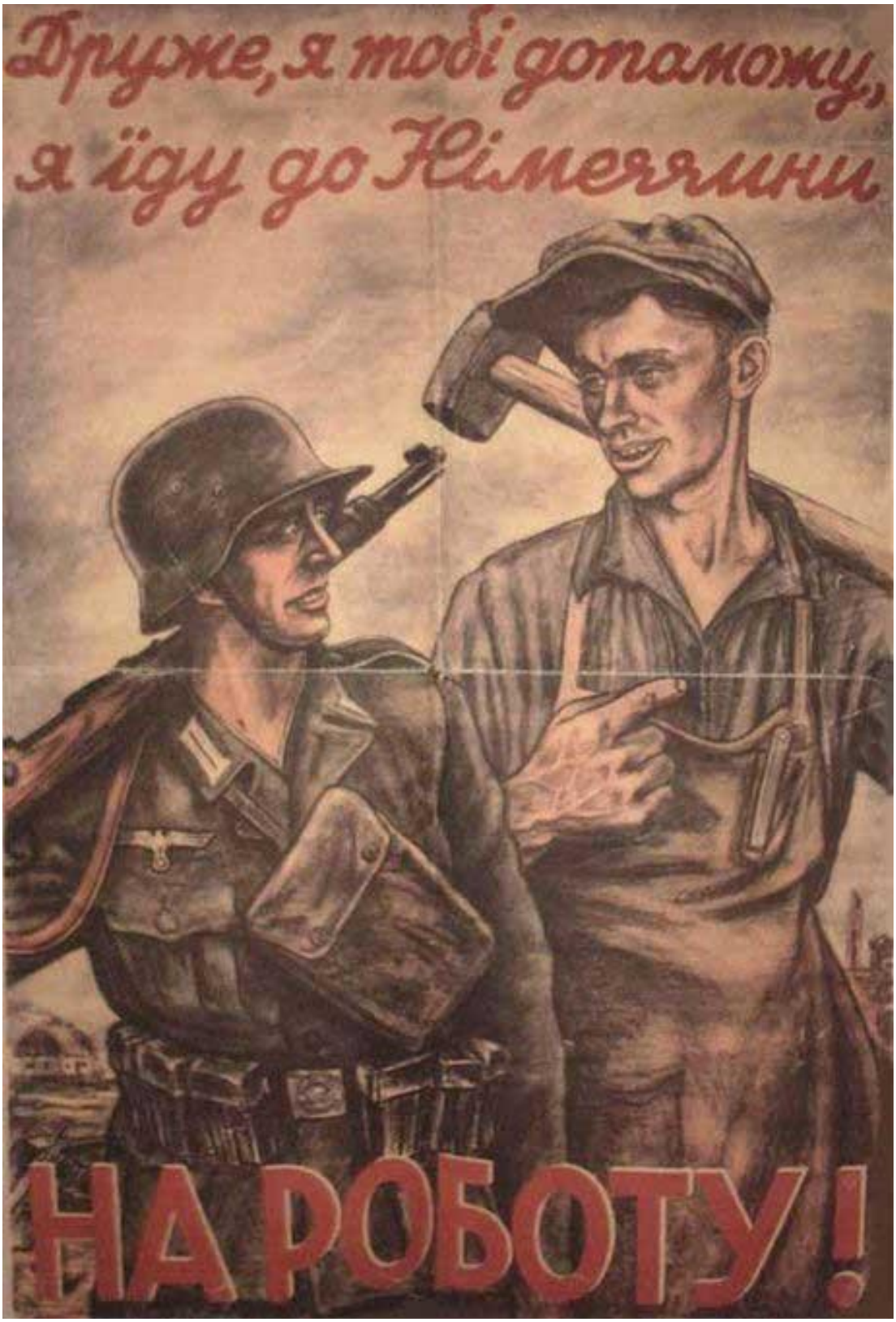
Я была в коллективе. Мне предстояло жить в нем, делить с ним общие горести и радости. Коллектив новый, еще малознакомый, но объединенный общей трудной судьбой. И как это ни парадоксально, но я почувствовала подобие душевного облегчения. Тому,

кто не испытал ужаса плена и скитаний по земле, занятой врагами, возможно, будет трудно понять меня. Я вышла из своего душевного оцепенения и стала вживаться в новую обстановку. Благодарю свою профессию! Она не позволила мне пасть духом, морально опуститься, помогла мне преодолеть трудности новой жизни. Ведь мы, актеры, наделены обостренной наблюдательностью и повышенным интересом ко всему, что нас окружает, эта способность спасла меня от преждевременной душевной старости.

Мои сожительницы бурно реагировали на трудности лагерной жизни. Все они приехали сюда из нормальных домашних условий, и естественно, что эта голодная, подневольная жизнь на чужбине была особенно тяжела. Возможно, некоторые из них поверили посулам немцев, что Германия предоставит им райское житье (такие плакаты висели на стенах биржи труда в Золотоноше), и никак не ожидали, не были подготовлены к этой суровой действительности. Они проклинали немцев, ссорились между собой из-за пустяков, жаловались друг другу на свою несчастную судьбу, искали сочувствия, плакали, вспоминали свою радостную жизнь на Родине, были растеряны, тосковали.

Но это были мои соотечественницы, они выросли на моей родной земле, с ними можно было общаться, можно было их понять. С течением времени я сблизилась в той или иной степени со многими из них, но никто не узнал, что я актриса! Необходимость скрывать свою профессию сперва возникла на оккупированной Украине как маскировка. Я боялась, что немцы используют меня в своих агитационных целях. Это опасение появилось чисто интуитивно, но

впоследствии жизнь подтвердила, насколько я была права. Здесь же, в лагере, я не считала нужным выделяться из общей среды. Я хотела с ней слиться. Мой внешний вид и моральное состояние настолько не соответствовали установившемуся представлению об облике актрисы, что кроме недоверия или оскорбительных насмешек, ничего иного не могли вызвать у окружающих. (Меня пугала участь Барона в пьесе Горького «На дне»!). Уважая свою профессию, я не могла уронить ее, подвергнуть осмеянию. Да и боязнь немцев тоже оставалась в силе. Я ограничилась скупой, вымышленной автобиографией: работала секретаршей в учреждении, перед войной была у родственников на Украине, застряла там в оккупации. Этих сведений было вполне достаточно для того, чтобы не вызывать повышенного интереса к моей личности и оставить меня в покое.



Агитационный плакат Третьего Рейха.

Дня через три к нам поступило пополнение из восьми женщин. Поселили их в соседнем с нами бараке. Именовались они «русскими», в отличие от нас –

«украинок». Прибыли они из Ялты и Симферополя. Я обратила внимание на одну из них. Это была женщина лет тридцати, некая Тамара О., казавшаяся старше из-за своей обильной, тщательной косметики. За ней бродил целый выводок бойких девчонок от 14 до 16 лет, которыми она командовала. Девочки эти – Вера, Надя, Тамара, Лида и Люся – назывались двоюродными сестрами О.

С ними приехали еще две девушки. Одна – краснощекая, пухлая, похожая на финку или карелку, а на самом деле гречанка из Симферополя по имени Надежда К., другая – худенькая, большеглазая, из Ялты, с которой приехал и старик-отец. Это была Тамара Т. с отцом Александром Васильевичем. Вся эта компания держалась в стороне от нас и не удостаивала нас общением.

Наступил конец карантина. На рассвете в барак вломился Эмиль, будя нас своими выкриками. Мы построились в колонну и пошли на завод. Авиамоторы САМ и БМВ, приходившие в негодность, требовали ремонта. Этим ремонтом и занимался Моторевeрк. Рабочие из всех оккупированных Германией стран, а также мобилизованные немцы заполняли цеха завода. Мы оказались в среде голландцев, бельгийцев, французов, итальянцев, поляков, чехов и немцев. Несмотря на то что Франция и Бельгия в то время уже капитулировали, военнопленных этих стран не отправляли на Родину. Германии нужны были рабочие руки. Итальянцы были пленные из армии Бадольо.

Мы были первые из Советского Союза, так что наше появление вызвало всеобщий интерес. Кроме того, на заводе, за исключением нескольких немок, не было

женщин. Наши девушки не говорили ни на одном иностранном языке, только большеглазая Тамара Т. знала немецкий да я – французский. Поэтому в цех, где я очищала какие-то детали, стали регулярно наведываться французы, чтобы посмотреть на русскую женщину и перекинуться с ней несколькими дружескими фразами на родном им языке.

Первое время нас рассовали по мелким цехам и конторам, а впоследствии некоторых из нас, в том числе и меня, перевели в громадный цех, где работали иностранцы. Мы стали участниками всеобщего тайного саботажа. Надо полагать, что завод имел план, что происходил учет работы и с кого-то спрашивалось выполнение этого плана, но нам никаких норм не ставили. Надо было только создавать видимость работы, чтобы проходивший по цеху полицай не подгонял. О его приближении сообщали обычно французы, громко произнося какое-нибудь условное двухзначное число: «Двадцать два» или «Сорок четыре». Скоро этот сигнал стал понятен всем нам и принимался во внимание. Прекращались разговоры, оживлялась работа. Но стоило полицаю удалиться, как вновь замирала всякая деятельность. Кто-то шел покурить, кто-то продолжал беседу со своим соседом.

Поначалу мы опасались немцев, но потом увидели, что они точно такие же саботажники, как и мы. Мастера, к которому я была прикреплена, звали Август. Это был небольшого роста, смешливый немец среднего возраста и уродливой внешности. Я не могу вспомнить, чем он, в сущности, занимался. То подолгу отсутствовал, то жевал свой завтрак, то посмеивался, слушая анекдоты. Редко его можно было увидеть работающим. По-моему, он избрал надежный способ

производить впечатление работяги: при приближении полицая хватал первую попавшуюся деталь и начинал усердно ее рассматривать, глубокомысленно закатывая к потолку глаза, как бы решая сложную техническую задачу. Я с удовольствием наблюдала за его наивными хитростями. Как-то он сказал мне, что у него есть земля, хозяйство, и я поняла, что на заводе он не по своей воле.

В таком же положении, очевидно, были и другие немцы. К нам они относились на редкость дружелюбно. Я не помню ни одного грубого жеста или слова в наш адрес, но держались они изолированно, не искали общения с нами, как, скажем, делали это поляки и французы. Жители Северо-Запада Германии, они говорили на своем наречии, трудном для понимания. Всегда аккуратно одетые, сдержанные и скромные, как были они не похожи на разнузданных оккупантов, на тех, кто бесчинствовал на земле моей Родины! В перерыве для завтрака все они одновременно, как по команде, вынимали свои термосы с кофе или чаем, а также пакетики с аккуратными бутербродами, в то время как мы глотали свою голодную слюну или раскуривали на троих одну случайную сигарету.

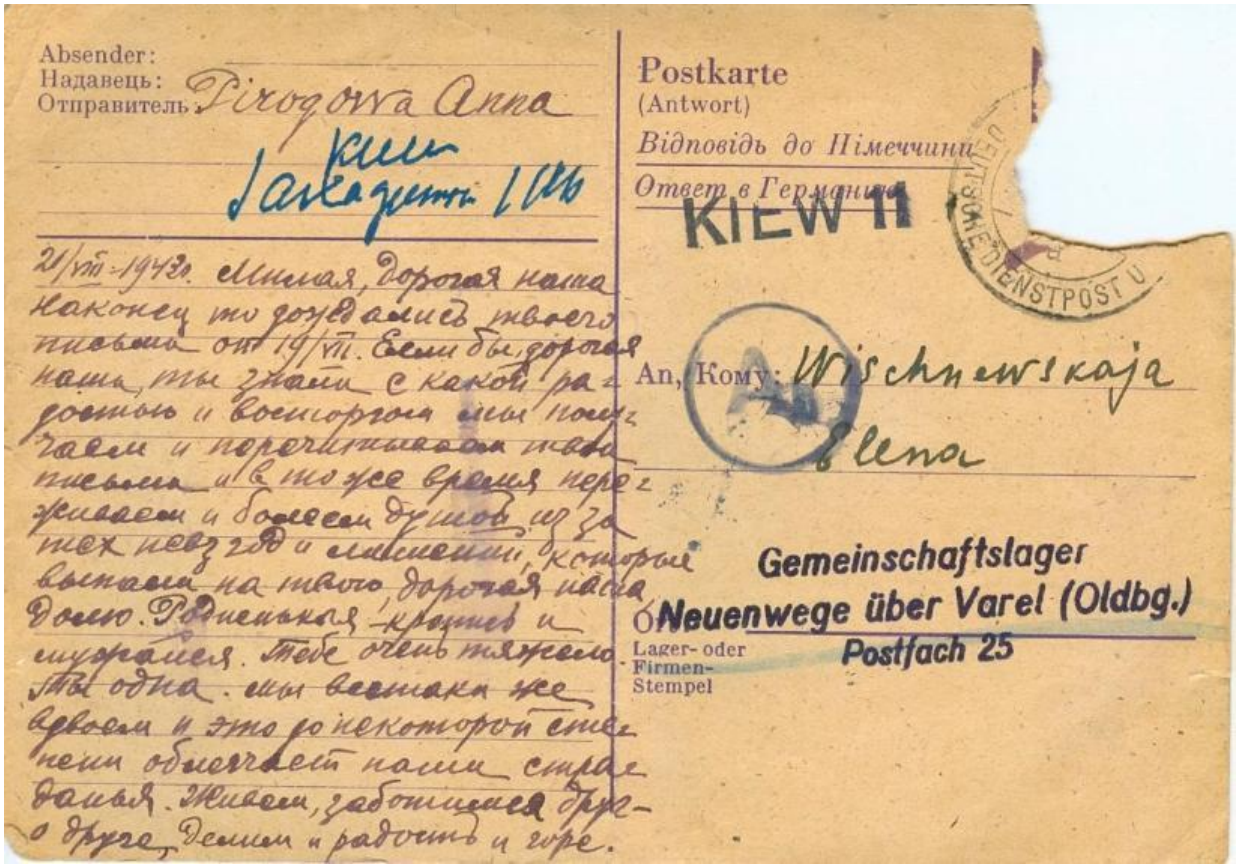
Рабочий день длился мучительно долго. Он лишен был смысла, лишен цели. Было голодно, холодно! Конец дня завершался кормлением в нашей столовой – бараке на территории завода. И бурда из традиционной кормовой брюквы была желанной. Она все-таки согревала, все-таки немного насыщала.

Однажды Эмиль принес почтовые открытки и сказал, что разрешает написать родственникам на Украину. Я

знала, что в Киеве остались при немцах наши старинные друзья – старики Пироговы. Послала им двойную открытку со штампом нашего лагеря. На одной открытке я сообщила им о себе и просила «при первой возможности дать знать моей маме по старому адресу». Они поняли мою просьбу. Оторвав вторую открытку, они прислали на ней несколько ободряющих строчек. До тех пор пока Киев не был освобожден, я обменялась со стариками несколькими такими открытками. Как только они замолчали, это стало добрым знаком: немцы выгнаны из Киева и сообщение Пироговых обо мне пошло на Москву. Так и было! Как счастлива была моя мама, узнав, что я жива!

Со временем нам немного увеличили вечерний паек. Хлеба выдавали по-прежнему крошечный кусочек – грамм восемьдесят на целый день, да и с примесью картофеля или гороха он был, хотя иногда прибавляли немного маргарина или ложку мармелада. Мне хватало выдержки съедать вечером только половину своей порции хлеба, а вторую я глотала утром с кружкой суррогатного кофе. А девчата не выдерживали и до обеда ходили с подтянутыми животами. Выдали нам и спецодежду: блузу и брюки на шлейках уныло-серого цвета. Мы их перекрасили сами в черный цвет. Целую неделю наша штубэ в бараке превращалась вечерами в красильню. Нами руководило желание выглядеть аккуратными, подтянутыми. Мы не хотели опускаться и вызывать насмешки немцев. В трудных условиях мы стремились сохранять достойный вид. Затем получили мы фланелевые ночные рубашки и платья, а также резиновые передники. Всем работавшим на заводе выплачивалась зарплата. Даже мы ее получали в именных бумажных мешочках с порядковым номером.

Мой №1234 (он сохранился у меня), на нем написано 17М (марок). Получали мы смехотворно мало, но нам это было безразлично. Ведь мы ничего, кроме открыток, пудры, зубного порошка и сырой моркови, не могли купить в Фареле, если нам туда удавалось попасть. Обычно эти конверты с зарплатой раздавали нам мастера, но иногда надо было получать в кассе, возле которой неизменно дежурил полицай. Он орал: «Эрсте дойч!» (первые – немцы!) – и грубо отталкивал иностранцев, если не все немцы успевали получить свою зарплату. Особенно доставалось украинцам и полякам.


Absender:
Надавець:
Отправитель: Pirogowa Anna
Postkarte
(Antwort)
Відповідь до Німеччини
Ответ в Германию
KIEW II
An, Кому: Wischnewskaja Elena
Gemeinschaftslager
Neuenwege über Varel (Oldbg.)
Postfach 25
Lager- oder Firmen-Stempel

Ответ Пироговых на оторванной открытке со штампом лагеря.

Девушки, жившие и работавшие у бауэров, иногда приносили в лагерь сворованное сало. Его мы покупали у них на наши марки. Сало было ценным добавлением к нашему голодному пайку. Поляки нередко продавали нам свои старые пиджаки. Такой пиджак приобрела и я. В цехе было холодно, и пиджак поверх спецодежды был очень уместен. В воскресенье девушки надевали платья, привезенные из своего дома. Мой «туалет», в котором я приехала, изодрался в клочья. Как-то я получила из склада на заводе кучу тряпок для вытирания деталей, среди них попало целиком шелковое черное платье в белые точки – оно, конечно, было здорово изношено, но я выбрала куски и на руках сшила себе блузку. У меня сохранились фотография, где я как раз в этой блузке.

Советские девушки на работе в Германии.

Как-то со временем все мы начали приспосабливаться к этим новым, трудным условиям жизни. Систематически воровали сырую картошку, если назначали нас чистить ее в воскресенье. Особенно ловко делали это самые молодые. Я долго не

решалась, предпочитала быть голодной. Шустрые С. добывали продукты, недоступные другим, очень были они инициативные и лихие. Из них мне особенно нравилась самая молодая – Вера. Она была похожа на цыганочку, всегда веселая, приветливая и полная юного обаяния.

Но вот вдруг странная болезнь стала поражать одну за другой этих девчонок. Начались у них на руках какие-то громадные, долго не проходившие волдыри. Их отправили в изолятор. Когда мы шли в столовую, то проходили под их окнами и видели их веселые, озорные лица – мало были они похожи на больных. Потом мы узнали, что это была чистокровная симуляция: кто-то научил девушек вызывать нарывы компрессами из чеснока, что они систематически и проделывали. Это изобретение привело в панику лагерного врача (немцы очень боялись эпидемии), а девочек надолго освободили от работы на заводе. К счастью, никто их не выдал, а я радовалась их смелой хитрости.

Странная жизнь началась у меня в Германии. Часто мне казалось, что это вымысел, что это не реальность. Как будто я играю новую роль в неожиданных, доселе мне неведомых обстоятельствах новой пьесы – пьесы смешанного жанра, где драма, комедия и лирика тесно переплелись в единое целое.

Вот начало дня. За окнами совсем еще черно. Быстро одеваемся, моемся, выбегаем в темный, пронизанный холодной сыростью двор. Вдали мелькают там и здесь огни ручных фонарей – это собираются к отходу на завод поляки, цивильные французы. Наш полицай тоже стоит с фонарем, мы группируемся возле него.

Воздух настолько влажный, что вокруг фонаря – кольцо радуги. Голоса в темноте приглушенные, на востоке светлеет полоса неба, с шоссе навстречу нам от утреннего ветра начинают шуметь деревья, и мы двигаемся темной массой в строю по белому асфальту.

Полицай едет рядом на велосипеде и бесцеремонно наезжает на того, кто нарушил строй. Полицай любит порядок, но он любит также и пение в строю. Командует, чтобы мы пели. Поем «Москва майская», с особым чувством подхватываем припев: «Кипучая, могучая, никем непобедимая...» А то поем и военные песни: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход...» Диву даюсь, как мог наш полицай не понимать, какого характера песни мы поем! Ведь мы произносили имена Ворошилова, Сталина – а он никогда нас не обрывал. На завод мы приходили после наших песен повеселевшими, приободрившимися.

Иногда, подходя к перекрестку, где в шоссе вливается вторая дорога из лагеря, мы слышали приближающийся мощный свист пленных французов. Их группу вел фельдфебель Вольф. Французы не пели, а всегда свистели свои песни. Так наше пение и их свист постепенно сближались и на перекрестке должны были слиться. Боже мой, какая суматоха начиналась у Вульфа и нашего полицая! Оба они, охваченные паникой, принимались в два голоса выкрикивать слова остановки, запрета: «лосс» и «хальт» чередовались с быстротой и силой выстрелов, оба стража суетились, один подгонял свою группу, другой задерживал на месте свою, чтобы помешать нашему столкновению, как будто оно могло угрожать

нам трагическими последствиями. И нас, и французов эта паника смешила до слез.

На территории завода мы расходились по разным направлениям, по своим рабочим местам.

Я вхожу в громадный цех, похожий на авиационный ангар. Мне всегда кажется, что он внутри голубой – это утренний свет просачивается через стекла. Тишина. Станки и машины застыли в ожидании. Острый запах машинного масла смешивается с запахом лесной зелени. В тишине цеха слышен каждый шаг, каждое движение. Кто-то неторопливо готовит свое рабочее место, кто-то вполголоса беседует со своим товарищем. Вот один из них мелодично засвистел. Постепенно прибывают поляки, французы, немцы. Проходят мимо меня: «Дзень добрый, пани!», «Бонжур, мадам! Са ва?», «Морген!». Охотно отвечаю на их приветствия. Мы все – товарищи. Я чувствую себя частью коллектива. Это бодрит, как утренняя зарядка.

Но часто я представляла себе, с какой самоотдачей и гордостью за свое дело я работала бы у себя на своей родной земле! Все было бы иначе, все не так, как здесь – на чужбине! Здесь эта так называемая работа только помогала несколько забыться, убить мучительный день. Да и не работал ведь никто по-настоящему. Больше делали вид. Кому было интересно выкладываться? Во имя какой цели? Никому! Даже немцы не старались. «Криег ист шайзе», – любили говорить они (война – это г...о). Мы с ними были более чем согласны.

В один из сумрачных осенних дней, когда мелкий дождь лил, не переставая, с утра до конца работы и настроение было более чем подавленное, при выходе

из цеха я почувствовала, как в мою руку кто-то вложил небольшой сверток. В столовой я развернула его и обнаружила дивный бутерброд с колбасой. Кто мой благодетель, я не могла понять, он ничем не выдал себя в толпе. На следующий день все повторилось. Я была начеку, ждала и заметила человека, который приблизился ко мне. Это был старик – немецкий рабочий. Быстро сунул мне сверток и, не глядя, не сказав ни слова, прошел мимо. Я прошептала слова благодарности, но он не оглянулся.

Ежедневно после конца рабочего дня я получала эту желанную милостыню. Я ждала этого момента с волнением, потому что сильнее его материальной ценности была ценность моральная. Глубокая сердечность этого очень старого человека трогала меня до слез. Днем я никогда не видела его. По-видимому, он приходил ко мне из другого цеха перед самым уходом с работы и, слившись с толпой, незаметно делал свое доброе дело. Так длилось больше месяца. Потом внезапно прекратилось, и я больше не видела этого чудесного человека. Узнать, что с ним случилось, я не имела возможности.

У нас в цехе была одна высокая, хорошенькая немка. Типичная «Гретхен» или «Луиза», с большими голубыми глазами на всегда улыбавшемся лице. Не помню, чтобы она хоть единым словом обмолвилась с нами, но однажды поманила меня в укромный уголок и сунула две пары вполне пригодных для носки туфель. После голубых «хольцшуэ» – ботинок на деревянной подошве, выданных нам вместе со спецодеждой, – эти туфли показались мне божественно красивыми. Опять я была растрогана актом человеческой доброты. Это была не только бескорыстная, но еще и опасная

помощь, т. к. если бы на эту немку был донос в гестапо, ей бы не миновать самого сурового наказания за помощь восточной рабочей.

И наконец еще два случая. Месяца через два после нашего поселения в лагере у меня начались какие-то странные нарывы на ногах.

Возможно, возникли они от систематического голодания, начавшегося еще на Украине, а может быть, я заразилась, искупавшись в грязном пруду, или застудила ноги в ключевой воде; не знаю, что это было, но похожи эти нарывы были на оспу. В лагере медицинское обслуживание осуществлялось малограмотным фельдшером. Это был молодой, наглый немец, позволявший себе грубые шутки с нами и чаще всего выгонявший нас, своих пациентов, с бранью из медпункта, если мы приходили к нему за каким-нибудь лекарством. Нечего говорить, что я совсем не стремилась обращаться к этому типу за помощью, но вызвал его в барак Эмиль, т. к. у меня начался жар, кружилась голова и я не могла выйти на работу. Фельдшер пришел с пинцетом, разорвал им все мои бесчисленные нарывы, что было адски больно, и удалился, даже ничем не продезинфицировав образовавшиеся раны. Я ждала после этой возмутительной операции самых пагубных последствий, но судьба была ко мне благосклонной: заражения крови не последовало. Нарывы покрылись струпьями, которые постепенно подсыхали, а температура стала нормальной. Я начала ходить на завод, но еле могла передвигать ногами, они стали тяжелыми, распухшими. Кровь пульсировала и отдавалась острой болью в каждой, пораженной воспалением точке.

Эмиль решил показать меня врачу и погнал в числе других больных в Фарель. Помню, что, дойдя до города, я совсем выбилась из сил и стала отставать. Дурак Эмиль оглядывался на меня и во всю глотку, голосом бешеного осла орал: «Вишневская, лосс, лосс, шнеллер!» Проходящие мимо нас горожане вздрагивали от этих воплей и пугливо озирались на нашу странную процессию. Так добрались мы до врача. В приемной у него сидело несколько пациентов. Я рада была отдохнуть и прийти в себя после тяжелого, унизительного пути. Когда подошла моя очередь и я, прихрамывая, поплелась к кабинету, то увидела, что один из пациентов внимательно, с выражением взволнованности смотрит на меня. Настолько выразительно было его лицо, что, выходя из кабинета, я захотела еще раз увидеть его. Он стоял спиной к окну и в упор смотрел на меня. Мне показалось, что он провожает меня взглядом до самых дверей. Я вышла на улицу, посмотрела в окно, человек пристально смотрел на меня, приблизив свое лицо к самому стеклу.

Странное чувство охватило меня. Чем могла заинтересовать я того человека? Больная, бледная, плохо одетая, со знаком ОСТ на пиджаке – вряд ли я была похожа на женщину, с которой хочется познакомиться.

Прошло несколько дней. Был поздний вечер. Наш барак гудел разговорами, вспыхивающими ссорами, догорали угли в чугунной печке, кто-то доедал свой скудный паек, кто-то стирал свою спецовку, словом, был обычный вечер после работы. Со двора вошла одна из девушек и сказала, что меня хочет видеть какой-то немец. Я вышла из комнаты и в темном

тамбуре столкнулась с тем человеком. Через полуоткрытую дверь нашей штубэ его лицо было освещено. Я видела, как он взволнован, и мне сделалось не по себе. Так мы стояли друг против друга несколько секунд без слов, а затем он протянул мне сверток и прошептал по-немецки: «Здесь... Я сам сделал для Ваших больных ног...» Не совсем понимая, что это такое, я поблагодарила его, и тогда он спросил: «Не могли бы Вы пройтись со мной? Я хотел бы с Вами поговорить!» Я пыталась объяснить ему, что нам запрещено и я здесь почти как пленная, но от смущения все слова вылетели у меня из головы, и я смогла только сказать: «Я не свободна». С оттенком большого разочарования человек выдохнул: «Ах зо!», почтительно попрощался со мной и исчез в темноте лагерного двора.

Трудно было понять, как он проник в лагерь, как разыскал меня. Все это было таинственно. А в свертке оказались наивные, кустарной работы шлепанцы из рыжего плюша. Они так пригодились моим больным ногам! И я долго вспоминала с благодарностью этого странного человека, который подарил мне кусочек своего сердечного тепла.

Елена Ивановна сохранила на память *свою нашивку.*

Много позже, когда я некоторое время работала служанкой в доме директора завода, мне поручала его жена кое-что купить в городе. В частности, систематически ходила я в булочную за хлебом. В Германии была карточная система. Однажды я получила хлеб, но карточку мне вернули с не оторванными талонами. Первое мое побуждение было

исправить ошибку, но более сильное желание – вдосталь наесться, пересилило его, и я ничего не сказала продавщице. В тот же день к вечеру я получила по этим талонам дополнительный хлеб, спрятала его в своей каморке и с наслаждением ела два дня. Я радовалась рассеянности продавщицы и моей удаче.

В следующий раз я получила хлеб, получила от нее карточку, взглянула на нее… и не поверила своим глазам! – талоны опять не были оторваны. Продавщица заметила мое замешательство. Подобие ободряющей улыбки скользнуло по ее строгому лицу, она протянула руку, вновь взяла мою карточку, вырвала талоны и… выдала вторую порцию хлеба. Я чуть не бросилась ее целовать от радости. Так систематически я подкармливалась ею. Ее благодеяние могло быть замечено хозяином булочной или кем-нибудь из посетителей, но она смело шла на риск и, как только была удобная минута, делала свое благородное дело.

Все эти люди были друзьями среди врагов. Может быть, они были коммунистами, антифашистами, может быть, просто добрыми людьми. Забыть их невозможно!

Декабрь, как и все зимние месяцы на северо-западе Германии, совсем не похож на нашу русскую зиму. Из-под тонкого слоя изредка выпадающего снега ярко зеленеет трава, воздух мягкий, всегда влажный, больших морозов нет. Мы были плохо одеты, и такой климат вполне нас устраивал. Правда, досаждали частые, затяжные дожди, когда мы насквозь промокали в своих пиджачках и курточках по дороге к заводу или к лагерю. Но, так или иначе, мы высыхали,

и это было менее мучительно, чем если бы пришлось страдать от мороза.

Дошли слухи о великих сталинградских событиях. Весь лагерь забурлил, возбужденный радостными известиями. Эмиль стал злым, как бешеная собака. В свете новых обстоятельств немцы решили укрепить руководство лагеря. Однажды мы не услышали отвратительного голоса Эмиля ни днем, ни вечером. На следующий день – то же самое. Эмиля отозвали, переместили, а может быть, послали на Сталинградский фронт? Так или иначе, но мы его больше не видели. К нам прислали молодую фашистку – фрёйлен Анни. Она собрала нас в бараке русских и нагло заявила: «Когда с вами говорит немецкая женщина, вы должны встать!» К счастью, я не сидела. Девочки нехотя встали с мрачными лицами. Фашистке что-то не понравилось в лагере, и она не осталась командовать нами.

Вскоре прибыл новый полицай – герр Эумэ. Это был интересный тип. Лет сорока пяти–пятидесяти, плотный, энергичный, аккуратно затянутый в свою черную форму, он сразу же внес дисциплину и строгий порядок в наш сумбурный лагерный быт. Он был умен, как вышколенный сторожевой пес. Его холодные светло-серые глаза успевали заметить любую неполадку в лагере или в нашем поведении. В его действиях чувствовался опытный надсмотрщик. Вечером все бараки закрывались, во двор на ночь выпускались две овчарки. С этими овчарками Эумэ входил и к нам по утрам с возгласом: «Ауфштэен!» (вставать!) Он приблизил к себе украинца Васыля, подхалима и доносчика, который помогал ему быть в

курсе всех лагерных дел. Были назначены постоянные банные дни.

Регулярно проводилась серная дезинфекция бараков. К нашему питанию были прибавлены – маргарин, ложка мармелада или сахара.

На Рождество завод не работал. Мы занялись уборкой лагеря. Длительно пребывать в тесном мирке нашей штубэ было для меня тягостно. Избыток свободного времени я заполняла шитьем, мастерила себе что получалось из разных тряпок или заучивала по словарю немецкие слова.

Приближался новый, 1943 год. Я предложила девочкам отметить его приход. Они с радостью согласились. Вечерние пайки мы отложили до 12 часов ночи. Кто работал на кухне, принес краденой картошки. Мы сварили ее. Без пяти минут двенадцать я выключила свет и предложила посидеть всем в темной тишине каждая со своими мечтами, желаниями и надеждами. В полночь я начала бить ложкой по тазу и после двенадцатого удара включила свет. Эмоциональный заряд этой скромной театрализованной процедуры превзошел все ожидания. Многие плакали. А потом мы съели свои пайки, вареную картошку, выпили по кружке суррогатного кофе и желали друг другу счастья, возвращения на Родину, прекращения войны. Было ощущение подлинного единения, крепкой дружбы и настоящего праздника. Мы были переполнены добром и светлыми надеждами. Заснули мы с верой в близкое счастье.

Январь и февраль тянулись неимоверно долго. Вереницы однообразных, лишенных цели и мысли дней сменяли друг друга.

А тут еще новое испытание свалилось на меня. Среди моих сожительниц была некая Наташа Т. Странное это было существо: очень некрасивая, маленького роста, со старообразным, бледным лицом, на котором хитро и воровато бегали острые черные глаза, а кривые губы расплывались в улыбке, похожей на гримасу. Она очень любила рассказывать о себе разные небылицы: какая она ловкая, удачливая да умная, и конца не было ее хвастовству. Она командовала самыми безропотными из девочек или начинала свару из-за какого-нибудь пустяка. Работала она на кухне, приносила оттуда какие-нибудь объедки и подкупала ими малодушных. За эти подачки они многое ей прощали, а она от этого все больше наглела.

Однажды она затеяла ссору с кем-то из молодых и была так груба и несправедлива, что я не выдержала, вмешалась и отчитала ее как следует. Она затаила черную злобу против меня. И теперь каждый вечер, придя после работы в барак, она начинала громогласно честить меня. Никто ее не останавливал. Девочки побаивались с ней связываться, а я игнорировала ее полным молчанием. Выбившись из сил, она тоже замолкала. Так продолжалось добрых две недели. Нелегко мне давалась моя выдержка, но я занималась своими делами и внешне была спокойна. Наташку мое поведение обескураживало, обезоруживало. Видя, что руганью меня не пронять, она решилась на подлость.

Когда Эумэ в мое отсутствие зашел в барак, она стала доносить на меня, что я пишу для девушек по-французски записки, что через французов я узнаю новости о событиях на фронте и многое другое. Лопотала она как безумная – одно слово по-немецки,

десять по-русски. Так рассказали мне девочки. Эумэ слушал, слушал ее, потом разозлился, постучал пальцем ей в лоб, заорал: «Ду – форюкт!» (ты – сумасшедшая), и, хлопнув дверью, ушел Наташка осталась ни с чем. Еще несколько вечеров продолжала она меня обкладывать, но с каждым разом все слабее. Ее предательство глубоко возмутило девочек, многие отвернулись от нее. Видя свое поражение, она перестала меня травить. А когда появились первые весенние цветы, она собрала букет и преподнесла мне со словами раскаяния и заверения в дружбе. С большим трудом я начала с ней разговаривать, но ее подлость простить так и не смогла

Возможно, из подобных ей получались услужливые помощницы фашистов. На групповой маленькой фотографии, хранящейся у меня, есть и эта Наташа Т, в своем детском беретике, с лицом недоброй старухи. С остальными женщинами у меня установились ровные, дружелюбные отношения. Особенно симпатична была мне Ольга П., а впоследствии и Тамара Т. Обе они сердечны, умны, и я сошлась с ними ближе, чем с другими.

Мне кажется, что режим лагерной жизни изменялся в зависимости от положения немецкой армии на фронтах войны. Малейший ее успех усиливал строгость в лагере, а поражения, как это ни странно, давали нам большую свободу. Так, по воскресеньям то нам разрешали выходить из лагеря хоть на целый день, то вдруг наступало время, когда нас на несколько воскресений подряд лишали этой возможности и после неизбежной чистки картошки запирали в бараках. Девочки тосковали. А мне эти перемены были совершенно безразличны – лишь бы поскорее

проходили дни и приближали меня к желанному освобождению. Обычно я обкладывалась словарями и погружалась в учебу. К сожалению, время от времени приходилось отрываться от этого занятия. То неожиданно появлялся Эумэ и я быстро прятала словари, боясь, что он отнимет их у меня, то вдруг разгоралась в штубэ ссора и мешала мне сосредоточиться, то кого-нибудь надо было успокоить, приободрить.

Ко мне часто обращались молодые за тем или иным советом, иногда более чем серьезным. Так, однажды пришли двое украинских парней из соседнего барака за советом: стоит ли им записаться в полицаи, чтобы получить возможность попасть на Украину? Они наивно рассчитывали, что смогут, будучи полицаями, переметнуться там к партизанам. Я отговорила их. Слишком слабая была надежда на то, что им удастся избежать участия в фашистских злодеяниях против советских людей.

Девушки поверяли мне свои романтические тайны, просили составить и написать им записки. Многие из них дружили с военнопленными французами, и вечерами можно было видеть трогательные, лирические сцены у проволоки. Ценой пачки сигарет французы покупали возможность на 2–3 минуты подойти к проволоке, часовой делал вид, что ничего не замечает. Через проволоку влюбленные сплетали свои руки и задумчиво стояли в молчании, зачарованно глядя друг другу в глаза, или обменивались торопливой беседой – украинка и француз на исковерканном немецком языке, или застывали в поцелуе, неизбежно одновременно целуя и разделявшую их проволоку. Передавалась записка, шоколад, пряник или сигареты,

если француз успевал получить посылку через Красный Крест, а девушка, в свою очередь, дарила другу какой-нибудь сувенир – носовой платок, свое фото или красивую открытку с нежными словами. Эти свидания у проволоки были чисты и, конечно, очень печальны. Молодые сердца жаждали любви.

Обе комнаты нашего барака жили дружно. Иногда девочки менялись местами, комнатами. Так появлялись у нас новые сожительницы. Состав разнообразился. Очень скоро в украинскую речь стали вплетаться немецкие слова. Часто можно было услышать: «Дивчата, вы нэ бачылы мое зайфэ?» (мыло) – спрашивает одна. «Тю, мэнш (человек)! Та воно у шранци (в шкафу – на украинский манер)», – отвечают ей. Или: «Ой, мои шуе (туфли) повны воды!» Иногда получались очень забавные сочетания. Привилось и слово «скомсикать», что означало «своровать». Произошло оно, неведомо почему, от французского «ком си – ком са» (так-сяк, ни то ни сё, так себе). Такие слова и примитивные выражения немецкой речи, как «прима», «капут», «шайзе», «шмэкт гут», «ви гэтс», «ганц прима», «данке шён», «битте зэр» и т. д., вошли в обиход, и многими украинками употреблялись не скажу, что наравне с родным языком, но часто.

Каждое воскресное утро мы шли чистить картошку на кухню завода. Эумэ назначал состав человек из десяти–пятнадцати. Сидели в тесной каморке подсобного помещения над подвалом. Нас обслуживал военнопленный француз Макс. Это был красивый, горбоносый блондин, на обязанности которого была грязная кухонная работа. Он поднимал нам из подвала очередные порции картошки. Заодно мы просили его

достать нам оттуда брюкву или морковь и ели их как лакомство. Макс был влюблен в Иру М. и старался чаще появляться в нашей компании. Тут шли у нас беседы, воспоминания или пелись любимые песни, в то время как наши ножи мелькали над картошкой. Два громадных котла заполнялись не скоро. Иной раз руки трудно было поднять от усталости, но, так или иначе, конец этой работе приходил. Перед отходом в столовую представлялась возможность немного своровать очищенной картошки, но требовалось тщательно замаскировать ее, т. к. повар Пампель и повариха Анна всегда стояли в это время в дверях кухни и следили за нами. Несколько раз девчонки попадались, получали хорошего тумака от старого Пампеля и выслушивали брань Анны: «Русишэ швайнэ! Швайнерайн!» – орала она и отбирала картошку, а то еще доводила до сведения Эумэ, и тогда в наказание он заставлял чистить сортир или лишал виновниц выхода из лагеря. Эти репрессии по борьбе с хищениями, конечно, не останавливали девочек. Перед сном сваренная в бараке картошка была так вкусна, так необходима!

Я долго терпела, не решалась на подобное воровство, но один раз попробовала и о, ужас! Уже благополучно пройдя мимо коварного контроля, услышала «Хальт» Пампеля. Остановилась, спросила, чего они хотят. Оба они смотрели на мою тряпичную сумку и не отвечали. Я издали протянула им ее и спокойно спросила: «Хотите посмотреть?» Они что-то тихо сказали друг другу и ответили: «Найн». По-видимому, мое поведение рассеяло их подозрение. Как мне повезло! Помню, что я сильно переволновалась. Мысль, что меня мог ударить этот повар, приводила в дрожь. Слишком это было бы унизительно!

Воскресный обед, как правило, состоял из отварной картошки в мундирах и соуса из свеклы, но с небольшим количеством мяса. Это уже было похоже на еду. Раздатчицей была Надежда К. Эта розовощекая, пухлая, хитрая девица пришлась по нраву помощнице нашего Эумэ фрау Янсон и пользовалась благосклонностью их обоих. Работать на завод ее не посылали. Она выполняла их поручения, убирала их помещения и, вероятно, доносила на всех нас. Мы стали сторониться ее, но она не унывала, чувствовала себя превосходно и на наших глазах здоровела и полнела

Сама Янсон была неимоверно толста, тупа и груба, как настоящая откормленная свинья. Она постоянно была в каком-то воспаленном состоянии, с пылающими щеками и выкриками малопонятных угроз в наш адрес своим зычным, противным голосом. Своей тупой дуростью она превосходила даже нашего безвозвратно исчезнувшего Эмиля. Это была не женщина, а разъяренный бегемот. Особенно нелепа она была, когда, напялив на себя мундир, садилась на велосипед. Казалось, что он вот-вот развалится на части под ее грузными ляжками, но каким-то чудом, прогремев трубным голосом свои последние распоряжения услужливой Надежде К., она ухитрялась без аварии пересечь двор лагеря, благополучно добраться до шоссе и за поворотом исчезнуть в направлении города. Она часто отлучалась по каким-то делам. Что за функции были у нее по лагерю – неведомо. Всем заправлял Эумэ.

Наступил март. Как-то рано утром я вышла во двор и вдруг почувствовала сладкое волнение. Отчего это? Что со мной? Что это за звуки несутся с вышины, из-под

облаков? Да ведь это летят журавли! Их нежное курлыканье говорит о весне, о том, что есть на земле счастье, есть настоящая жизнь! С этого дня вся природа стала прихорашиваться, и очень рано вступила в свои права весна. Бурно зазеленели кустарники, деревья. Воздух стал прозрачным, ароматным, настроение у всех нас повысилось. Раздвижные двери цеха стояли весь день открытыми, и сосны приветливо махали нам мохнатыми лапами своих ветвей.

Однажды во время перерыва я села на пенек под лучами солнца. Подошел скромный, незнакомый француз и предложил мне сигарету. Покурили, немного поговорили и разошлись по своим цехам. На следующий день этот француз появился в цехе. Я видела, как он разговаривал со своими товарищами, а сам посматривает в мою сторону. Подойти ко мне ему не дал обход полицая, но он сделал это на следующий день.

Это был Рожэ Дессайн, военнопленный. Его жена Леон недавно умерла во Франции от чахотки, а дети – девочка Шанталь и мальчик Клод жили с родственниками. В связи с этими обстоятельствами Рожэ надеялся на свой отъезд во Францию, но единственно, чего он добился – это перевода из военнопленных в группу цивильных французов. Покинуть Германию ему не разрешили. Рожэ перебрался в барак нашего двора и теперь мог время от времени видеться со мной, передавать новости о положении на фронте, делиться своими мыслями. Так началась наша дружба.

Рожэ проявлял необыкновенно трогательную заботу обо мне. Сколько раз на него натыкался Эумэ, когда Рожэ стоял под нашим бараком с миской еды для меня! Эумэ грубо прогонял его. Я просила Рожэ не делать этого, но он не мог преодолеть растущего чувства ко мне и шел на любые унижения ради того, чтобы хоть как-нибудь облегчить мне существование. Ко дню моего рождения он смастерил деревянную коробочку в форме книги, на крышке которой вырезал слово «сувенир» и вставил свой маленький портрет. Несколько позже преподнес такую же вторую, с моим именем, изысканно инкрустированную цветным деревом. Затем подарил рамочки для фото, одна из них представляла подкову, которую держат хоботами два слона, их клыки были сделаны из зубцов обыкновенной расчески. Работа отличалась изяществом и тщательностью, хоть и производил он ее примитивными инструментами. Эти сувениры теперь всегда находятся на моем бюро. Множество знаков его внимания согревали мои дни: нашел где-то удобную стальную ложку № 00013 и подарил на счастье, купил мне ножик, кошелек, выписал из Франции два словаря, да всего и не перечтешь. Все эти мелочи так нужны мне были, так хорошо служили мне в лагере! А как приятны были его ободряющие записки! Если же приходила продуктовая посылка, он неизменно делился ею со мной, ну а я, в свою очередь, с Надей.

Подарки от умельца Роже.

Я понимала, как трогательно заботлив Рожэ, какой он добрый, отзывчивый человек, но чувства мои к нему были скупые, я как бы вся душевно высохла в том огне бурных переживаний и лишений, которые выпали на мою долю. Постоянное ощущение глубокого горя не покидало меня, хотя и смягчилось заботами Рожэ.

Летом поспела земляника в лесу. Эумэ пустил нас собирать ее, мы заполнили душистыми ягодами свои миски, котелки, кружки и, предвкушая предстоящее пиршество, собрались возвращаться в бараки. Внезапно появился на велосипеде Эумэ, бесцеремонно отобрал у нас все, что мы собрали, ссыпал в большой кувшин и укатил в лагерь. Грустные и усталые, мы вернулись в бараки. Там пахло земляничным вареньем. Вечером меня вызвал Эумэ и вручил для нас тарелку этого варенья. Я отказалась брать, тогда он сам принес ее и поставил на наш стол. Как опытный надсмотрщик, он менял методы общения с нами, пытался не слишком обострять наше отношение к

нему, и я бы сказала, учитывал характер каждой из нас. Некоторые девочки, разозлив его, получали от него тумаки, пощечины, на многих он орал не своим голосом, а то, будучи в хорошем настроении, грубовато шутил и даже мог хлопнуть ладонью по заду. Но меня он никогда и пальцем не тронул. Что-то, очевидно, было во мне, не позволявшее ему этих выходок и пошлых вольностей. Много будет, если я скажу, что он уважал меня. Нет! Скорее, в какой-то мере считался со мною, этого было мне вполне достаточно. Я была с ним всегда спокойна, немногословна, никогда, естественно, не зубоскалила с ним, но и не боялась его. Очевидно, все это он учитывал. Но что-то во мне интриговало его, я замечала, что он наблюдает за мной, пытается понять меня.

Однажды он вызвал меня к себе в свою комнату и стал задушевно рассказывать о себе, о том, что он был на фронте, получил ранение, задрал свой китель, показал шрам на пузе, доверительно говорил, как ему надоело работать в лагере, как ему трудно, как он хочет домой, к жене. Я холодно слушала его и думала: «А все-таки, зачем он говорит все это мне?» Оказалось, вот зачем: он хотел завербовать меня в свои помощницы, доносчицы! Как только я поняла, куда он клонит, я сделала вид, что ни слова не понимаю. Довела его своей тупостью до сильного раздражения, он даже повысил голос, но, видя, что со мной ничего не поделаешь, замолчал, успокоился и... подарил мне на прощанье батон белого хлеба! Я отдала его девочкам. Вот какой странный эпизод произошел у меня с нашим лагерфюрером. Однако у меня было чувство моральной победы. Этот негодяй не позволил себе со

мной ни малейшей грубости и понял мою порядочность.

Как-то появились в лагере два офицера СС в своих черных формах с черепами на фуражках. Заходили в наши бараки. Эумэ заискивал перед ними, что-то говорил им, объяснял, они беззастенчиво рассматривали девушек. Этот визит вселил тревогу, но завершился благополучно для нас. Молодчики уехали и больше никогда не появлялись.

На один день приезжала жена Эумэ. Она была похожа на скромную, пожилую учительницу. Странно было видеть рядом с ней воинственного ее супруга, очень не монтировались они друг с другом. Мы случайно проходили мимо их помещения – они милостиво угостили нас конфетами. Семейная идиллия!

Однажды Эумэ решил облагодетельствовать нас и повел небольшими группами в подвал завода. Подвал был завален аккуратными тугими тюками с различной одеждой. Несомненно, это были вещи, конфискованные фашистами после арестов, расстрелов, награбленные, продезинфицированные, расфасованные и разосланные по всей Германии. Каждая из нас могла взять два платья. Я горестно думала о возможной трагической судьбе их владелиц!

Подходил август месяц. Однажды меня вызвал герр Кеффель – один из многочисленных начальников завода, и сообщил о моем переводе на работу в дом директора. Эта перемена испугала меня. Но Кеффель улыбался и повторял: «Абэр, гут эссэн! Гут эссэн!», словом, ободрял меня предстоящим хорошим питанием. Что-то было стариковски заботливое, доброе в его тоне, и сам он выглядел весьма живописно в

своей бархатной куртке, гольфах, пестрых чулках до колен и зеленой шляпе чуть ли не с павлиньим перышком. Этакий старик-тиролец, альпинист! Или, вернее, дедушка в маскарадном костюме!

На следующий день меня отправили в Фарель. Так началась еще одна новая полоса в моей германской жизни. Я стала работать служанкой в доме у Шнайдера.

Фарель – один из небольших городов Западной Германии. Необыкновенно чистый, нарядный, очень тихий. Автомашин почти нет. Автобусов также, только бесшумные велосипедисты снуют по улочкам. Иногда они парные – для того, чтобы ехать могла вся семья: отец, мать и в двух корзинах перед ними по ребенку. Сзади сиденья погружается багаж. Дома – одноэтажные, с мезонином, реже – двухэтажные. В архитектуре известное разнообразие по вкусу хозяев. Крыши высокие, заостренные. Под ними, рядом с чердаками, почти всегда расположены спальни, а внизу у входа разбиты маленькие садики, тщательно ухоженные, с клумбами, цветы на которых меняются соответственно сезону и даже месяцу. По утрам аккуратные хозяйки в накрахмаленных передниках подметают щетками бетонированные дорожки своих владений, а иногда даже усердно трут их швабрами, поливая горячей водой с мыльным порошком. На улицах я не видела ни валяющихся окурков, ни клочков бумаги. Идеальная чистота.

Дом, где жил Шнайдер, был под самым лесом. Выйдя из калитки, надо повернуть направо, пройти два соседних дома и через остатки белых ворот по широкой, тенистой аллее войти в лес. Лес влажный,

могучий, сказочный. Громадные стволы деревьев не коричневого, а зеленого цвета, покрыты они плесенью и *мхом.*

Центральная лесная дорога идет мимо охотничьего домика с пивным баром и заканчивается у шоссе. Дальше в лагерь моторного завода надо идти по шоссе километра два. С двух сторон его украшает тоже могучий лес, а на подходе к лагерю открываются поля, на которых разбросаны кое-где хозяйства крестьян. Их домики стандартные, из красного кирпича, под красными высокими черепичными крышами. Хозяйственные постройки сложены из крупных натуральных камней. На огородах и полях обилие разных сортов капусты. Здесь впервые увидела я так называемую зеленую капусту – «грюнколь», высокие стержни которой увенчаны как бы резиновой губкой зеленого цвета. Грюнколь чуть ли не излюбленная еда немецкого крестьянина. Возможно, что с салом она вкусна. Нам же давали ее иногда только в чистом виде. Казалось, что эта сомнительная еда тошнотворно пахнет грязной кухней.

По утрам на обочинах шоссе возле крестьянских домов можно видеть громадные бидоны, наполненные молоком. Проедет специальная машина, шофер заберет их, поставит на прежнее место чистые да вдобавок положит на бидоны по свертку с готовым маслом. Если хозяев нет дома – ничего, никто из прохожих не тронет ни молока, ни масла. Кажется, с нашим поселением в лагере этот распорядок был нарушен. Грустно, но винить голодных людей трудно. Впрочем, молоко воровали редко, в исключительных случаях, делать это было сложнее, рискованнее, чем таскать картошку.

Итак, осенью 1943 из казарменной обстановки лагеря я попадаю в обжитую, уютную квартиру Шнайдеров. По контрасту она мне показалась роскошной, но, конечно, это было преувеличенное восприятие. Никакой роскоши там не было. Обыкновенная квартира интеллигентной семьи среднего достатка. Карл Шнайдер был директором моторного завода. Весной 1943 года у него умерла от родов жена. В самом начале нашей лагерной жизни мы однажды видели ее, она оживленно двигалась по нашему двору и щелкала своим фотоаппаратом, делала снимки наших бараков и всей территории. Это была миловидная маленькая брюнетка лет 40–45. Было что-то оскорбительное в ее веселой, энергичной бесцеремонности, как будто она находилась не среди голодающих, усталых людей, а в зоопарке и фотографировала экзотических животных. Возможно, для нее мы и были ими.

Теперь Шнайдер остался вдовцом с 8-летней дочкой Ирмгардт. Две старшие – Инге и Эффа учились и жили в Мюнхене. После смерти их матери Эффу отец вызвал в Фарель вести хозяйство в доме, ей пришлось бросить на время ученье. Меня она встретила довольно приветливо, очевидно, видя во мне свою избавительницу от тяготивших ее обязанностей хозяйки. Эффа не отличалась красотой, скорее, ее можно было назвать дурнушкой. Черты лица она унаследовала от отца: острый нос, маленькие глаза в неизменных очках, большой рот с узкими губами. Только цвет волос она взяла от матери.

В первый день я занималась уборкой достаточно запущенной квартиры. На лестнице в белом шкафу находился пылесос с набором всевозможных к нему щеток, тряпки, порошки, мыло – словом, все то, что

помогает соблюдать чистоту. В нижней части шкафа хранилась обувь. В России перед войной редко какая семья имела пылесос, а уж скромная наша – и подавно, так что я с удовольствием ознакомилась с ним и с арсеналом его рожков и щеток. Кажется, Ирмгардт где-то гостила. По разрешению Эффы, я после уборки комнат могла принять ванну и осталась сторожить квартиру, так как Шнайдер уехал в Берлин, а Эффа отправилась за покупками в город. Перед отходом она выдала мне скромные постельные принадлежности. Я отнесла их в предназначенную мне каморку. Там стояла ветхая железная кровать, небольшой стол и стул. Скошенный потолок круто спускался за изголовьем кровати к полу. Высоко над ним, с выходом на крышу, – маленькое оконце, через которое можно было увидеть только жалкий кусочек неба. Отопление отсутствовало. «Камера одиночного заключения», или, если не терять чувство юмора, нечто вроде «Под крышами Парижа».

Приготовив свою постель, я спустилась в нижние комнаты, с упоением приняла ванну и вышла в холл. Был тихий послеобеденный час начала августа. Квартира была пронизана солнцем и блистала чистотой. Я бродила по комнатам в каком-то обновленном душевном состоянии. Легко понять, как я истосковалась по нормальным, культурным условиям жизни. И вот теперь я попала в обстановку, соответствующую моим привычным вкусам. Отчетливо помню все комнаты, их расположение и характер меблировки. Вся квартира уютная, удобная. Она напоминала о мирной довоенной жизни, будто не было горя, не гибли на фронтах люди, не творили чудовищные злодеяния фашисты! В казенной

обстановке лагеря мы ощущали войну, хоть и шла она за границами Германии, здесь же, в квартире Шнайдера, время как бы остановилось на рубеже, не дойдя до войны. В тишине послеобеденного часа я находилась одна в этой квартире и так забылась, так размечталась, что, как свободная, полноправная хозяйка своей жизни, села за пианино в будуаре фрау и начала играть Патетическую сонату. Отрезвление не замедлило наступить. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. В дверях холла стояла Эффа... Невозможно передать выражение ее лица! Изумление и растерянность чередовались на нем с недовольством и... оскорбленностью. Секунду мы смотрели друг на друга в молчании, затем она процедила сквозь зубы: «Не так быстро надо играть Бетховена», – и ушла с покупками на кухню. Она постеснялась быть со мной грубой.

Прошло несколько дней. Эффа покупала продукты, готовила еду, препротивно облизывая ложку после каждого помешивания, а я занималась черной домашней работой. По воскресеньям ходила в лагерь или встречалась с Рожэ и гуляла с ним в дивном, начинающем желтеть лесу. Нам было о чем поговорить. Помню рассказ Рожэ о том, как в Арденнах он сидел в засаде со своими солдатами, ожидая появления немецкой мотоколонны. Все было готово для разгрома врага, и вдруг был объявлен приказ о капитуляции Франции. Ни один выстрел не был произведен в появившихся на дороге немцев. Французские солдаты плакали как дети от бессильной к ним ненависти. А потом, в лагере для военнопленных, Рожэ видел зверские расправы над советскими воинами: фашисты по несколько дней

морили их голодом, затем швыряли сырой картофель, и каждого, кто бросался его поднять, тут же расстреливали.

Живя у Шнайдера, я чувствовала себя более свободной, чем в лагере. Не было маршировки в строю, не было окриков, команд, даже знак «Ост» я никогда не надевала. Шнайдер никогда со мной не говорил, только здоровался, да и видела дома его я редко. Эффа вела хозяйство кое-как, не контролировала мою работу, не требовала особой тщательности. Я была сыта и могла отдохнуть от лагерного, шумного быта. Плохо ли, хорошо ли, но у меня был теперь свой угол – эта неотапливаемая каморка под самой крышей, где я после трудового дня начала вести дневник или совершенствовала знания французского и немецкого языков.

Наконец появилась в доме Ирмгардт. Острая мордочка, быстрые, хитрые глазки. Сперва она приглядывалась ко мне, помалкивала, но часто ссорилась с сестрой, очевидно, не желая ей подчиняться. Но вот наступил день, когда приехала новая жена герра Шнайдера – мачеха его дочерей, и все в доме резко изменилось.

Я помню это утро, когда она вошла на кухню, любезно улыбаясь, поздоровалась со мной за руку и выдала мне два куска хлеба и ложку мармелада на завтрак. Банку с остальным мармеладом она отнесла в чулан, дав мне этим понять, что одной ложки с меня хватит. А я уже привыкла к тому, что Эффа не делала подобных ограничений, и взяла из банки еще одну ложку. На следующее утро моя порция ждала меня на кухне, а чулан и холодильник были на запоре. Это было очень неприятно. Я сухо извинилась, и доверие ко мне было

восстановлено. С этого дня двери чулана и холодильника всегда были открыты.

Фрау Шнайдер, урожденная Герта Молли, была дочерью близкой Шнайдерам семьи. Шнайдер знал Герту много лет, на его глазах она из молодой девушки стала женщиной лет сорока. Как я поняла из ее рассказов, она жила в Берлине отдельно от своих родителей, вела свободный холостой образ жизни, работала в рентгеновском кабинете медицинского учреждения. Шнайдер был старше ее лет на 12. Она была умна, интеллигентна, сдержанна. Среднего роста, стриженая блондинка с карими глазами, пухлым ртом и вздернутым носом. Не красивая, но пикантная женщина с красивой фигурой. Думаю, что брак этот был не по любви, а по обоюдному расчету. Ему срочно нужна была хозяйка и воспитательница для Ирмгардт, а ей, вероятно, надоел холостяцкий образ жизни, да и возраст уже требовал обзавестись своим настоящим семейным очагом.

Войдя в дом, она сразу же крепко забрала хозяйство и воспитание падчерицы в свои руки, как будто стремилась выдержать экзамен на звание образцовой жены, очевидно, это так и было. Однажды она мне сказала, что покойная жена Шнайдера была прекрасной хозяйкой, по-видимому, Герте хотелось во всем восполнить Шнайдеру его утрату. Эффа пробыла с мачехой всего один день и безоглядно умчалась к себе в Мюнхен.

В первый же вечер без Эффы, когда Ирмгардт отправилась спать наверх в детскую, а я заканчивала уборку кухни, молодожены в кабинете пили вино, я долго слышала смех фрау и урчанье ее Карла. А

наутро, убирая кабинет, я нашла на полу смятую записку: «Мой любимый муж, я хочу спать. Твоя Герта. Хайль Гитлер!» Меня сразило! При чем же тут Гитлер?! Я чуть громко не расхохоталась.

В кабинете на низком шкафу стояли в рамках портреты Гитлера и Геринга. Шнайдер был национал-социалистом, по убеждению или вынужденно – не знаю. При новой жене он стал со мной общительнее. Однажды не поленился даже притащить ко мне на кухню глобус и стал объяснять, что немцам не хватает жизненного пространства, – поэтому они воюют. Он как бы оправдывался!

Моя фрау установила строжайший порядок в доме. Она умела планировать, распределять, контролировать, экономить, придерживаться расписания и распорядка дня, поэтому жизнь в доме пошла как хорошо отрегулированный механизм. Мне были выданы ключи от квартиры, которыми я закрывала на ночь дверь, уходя к себе на мансарду. В 7 часов утра я должна была открыть ее и уже стоять у белого шкафа на лестнице, чистя обувь семьи, а затем шла на кухню, ставила чайник на плиту и варила Шнайдеру неизменный жидкий «Геркулес» на воде. Шеф страдал язвой желудка. В восьмом часу через холл в ванную кокетливо скользила фрау в нарядном ночном пеньюаре. Затем она появлялась на кухне с неизменной сияющей улыбкой на лице. Она входила с таким видом, как будто преподносила себя мне в подарок. Таким мог быть выход актрисы в роли молодой, счастливой хозяйки. Фрау начинала свой трудовой день, она молола и затем варила в стеклянном сосуде кофе, превращая этот несложный процесс в подобие торжественного ритуала. Я

придирчиво следила за ее действиями, меня раздражала ее усердная экономность, казавшаяся мне тогда скаредностью. Случайно упавшие на пол зерна кофе она тщательно разыскивала, старый хлеб не выбрасывала, а складывала в определенное место, сушила в духовке и затем давала мне колоть сухари, уходя из комнаты, она никогда не забывала гасить свет.

В России моя семья жила скромно, но безалаберно, без плана. Иной раз «густо», иной раз «пусто», словом, по принципу «как получится». Экономить, считать каждый кусок было скучно, непривычно. Весь круг наших друзей и знакомых отличался такой же бездумной расточительностью. Можно ли считать это достоинством? По-моему – нельзя. И вот, несмотря на мое внутреннее сопротивление, я в результате отдала должное разумности фрау и ее умению рационально вести хозяйство. В дальнейшем я кое-что взяла от нее на свое «вооружение». Сколько раз, придя ко мне, она переставляла на столе кухонные принадлежности так, чтобы мне удобнее и быстрее было работать, делать меньше движений. Это было, когда я чистила картошку, или лущила горох, или перебирала ягоды. Во всем ею руководили рационализм и экономия. Так она была воспитана своими родителями, всем укладом их семейной жизни. А может быть, это и национальная черта?

После завтрака я пылесосила все комнаты и вытирала пыль с предметов. Комнаты блистали чистотой. В установленные дни были генеральные уборки, когда я выносила на балкон матрацы и мягкую мебель,

выбивала их, обметала потолки, стены, шкафы и мыла всю кухню. Круг моих обязанностей был велик: я чистила кастрюли, мыла посуду, стирала и вываривала белье, гладила его, чистила овощи, частично готовила еду, покупала продукты, ходила в город по разным поручениям и выполняла множество дополнительных услуг.

Мой день был загружен до предела. Фрау не выносила пауз в моей работе и тут же искала мне новое дело. К вечеру я до такой степени уставала, что плелась в свою каморку, едва передвигая ноги. Может быть, именно поэтому из всей квартиры мне больше всего нравилась лестница. По ней поднималась я, закончив утомительный рабочий день, а если и работала на ней, то находилась в одиночестве и чувствовала себя свободнее и спокойнее, чем в комнатах квартиры. Лестница давала мне возможность побыть наедине с самой собой и обрести душевное равновесие, которое нарушалось в течение дня моей требовательной фрау.

И тем не менее у меня остались добрые воспоминания о моей энергичной, зажимистой хозяйке. Она была умна, деловита, достаточно тактична со мной и интеллигентна. Эти ее качества меня устраивали. Конечно, и у меня, и у фрау бывали срывы во взаимоотношениях, но – как исключение, а в основе мы уважали друг друга.

Маленькую Ирмгардт она так ласково и умело прибрала к рукам, что та ходила перед ней как дрессированная собачка на задних лапках, а между тем девчонка была зла, хитра и лицемерна. У меня с ней началась скрытая война. Дело в том, что ей доставляло садистическое удовольствие говорить мне

гадости и командовать мною, но делала это она исподтишка, понимая, что мачеха не одобрит ее поведение. Как маленький жестокий хорек, она каждое утро спускалась по лестнице из детской и, застав меня за чисткой обуви, обязательно говорила мне что-нибудь неприятное, зло улыбаясь. Моя сдержанность доводила ее до бешенства, но, боясь мачехи, она вынуждена была оставлять меня и уходила ни с чем.

Однажды, узнав, что в далекой России у меня есть дочь Катюша, она прошипела, побелев от удовольствия, что я никогда не увижу мою дочь, что Катюша умерла, и стала злорадно смеяться. Все во мне перевернулось от возмущения, и я, не помня себя, влепила Ирмгардт пощечину!

За это я могла поплатиться своей жизнью. Но... прошел день, два, три – ничего не изменилось в моем положении. Ирмгардт утаила от родителей это происшествие, и даже как-то присмирела со мной. Вряд ли она чувствовала себя виноватой, но стала, по-видимому, побаиваться меня и совсем прекратила свои злобные выходки.

В сентябре фрау снарядила меня поехать с неким стариком по фамилии Стакер на его садовый участок. Я должна была помочь ему собрать урожай яблок и груш, а за это он обещал Шнайдерам часть фруктов. Герр Стакер был сапожником, я несколько раз носила ему чинить обувь всей семьи. Это был старый, почтенный немец, мы собирали с ним все фрукты. Я надышалась осенним, свежим воздухом, вдосталь наелась зрелых плодов и до сих пор помню острый запах гниющей листвы, аромат спелых яблок и хрустальный воздух осени. Он пробудил во мне

воспоминания о поездке в дальневосточную тайгу солнечной, поздней осенью 1938 года с группой моих товарищей из Московского театра Красной Армии. Такой же был свежий, пьянящий воздух и пьянящие ароматы земли. Прошло с того дня не более пяти лет, а так перевернулась вся моя жизнь! Я возвращалась в чужой дом и ехала в грузовой машине по темному загородному шоссе Западной Германии.

Как-то в начале зимы приехали из Берлина родители фрау – чета Молли. Высокий благообразный старик и маленькая, пухлая старушка, которая торжественно называла своего мужа «герр директор», хотя он давно уже не работал. Они погостили недолго, им на смену к Рождеству приехала Инге. Она была преподавательницей физкультуры в Мюнхене, гораздо привлекательнее Эффы, рослая, миловидная и более веселого характера, она мне показалась очень приятной. В доме была небольшая нарядная елка. Фрау приготовила всем подарки. Даже у моего прибора на кухне лежали три изящных носовых платка и открытка с поздравлением.

После Нового года Шнайдер по делам уехал в Париж. Вернулся оттуда с громадным, прямо-таки кустом или небольшим деревцем в горшке цветущих розовых азалий. Фрау была в восторге. За обедом он рассказывал ей о своих впечатлениях. Я поняла одну его фразу: «Представь, в ресторане одна французская семья пригласила меня за свой столик и даже любезно разговаривала со мной», – интонация при этом у Шнайдера была радостно удивленная.

Для меня Шнайдер остался загадочной фигурой. Что за человек он был, каких убеждений, мне трудно было

понять. По-немецки я говорила плохо и понимала главным образом бытовые фразы. К тому же Шнайдер не отличался разговорчивостью в моем присутствии, был чрезвычайно осторожен в своем поведении.

Как-то весной фрау собралась сфотографироваться всей семьей во дворе позади дома, предложила и мне примкнуть к их группе. Я взяла в руки щетку, предвкушая, какую интересную фотографию привезу на Родину, но... Шнайдер категорически запретил делать снимок. Мне не объяснили почему. Вероятно, он прекрасно понимал, к какому концу идет Германия, и не хотел никаких улик против себя. Как-никак, а ведь он эксплуатировал мой труд!

Однажды он спросил меня в шутку: «А что, Гелене, если сюда придут русские, то они нас...?» – он сделал выразительный жест, как бы вздергивая себя за шею к потолку. Губы его улыбались, а глаза были испуганные. Чем ближе к весне, тем более обнадеживающими становились новости. Их сообщал мне Рожэ, а я передавала в лагерь своим девочкам.

К Шнайдерам был приглашен на обед какой-то важный нацист. Мне дали надеть белую наколку, белый передник с кружевами, из буфета вынули дорогой сервиз. Я подносила по всем правилам одно блюдо за другим, фрау следила за тем, как я обслуживаю их. К сожалению, не удалось ничего понять из разговора за столом. Важный нацист был довольно мрачен и молчалив. Явно желая щегольнуть мною, фрау сказала: «Унзере Гелене – русише интеллигент». Нацист даже не посмотрел в мою сторону.

Открылся второй фронт. О высадке американцев в Шербурге я услыхала на улице, когда покупала

молоко. Берлин стал подвергаться систематическим налетам, и вскоре дом стариков Молли был снесен с земли прямым попаданием американской авиабомбы. А через некоторое время умер отец фрау. Рано утром раздался звонок у входной двери, я сбежала вниз, открыла ее, и мне на грудь упала бедная старушка Молли; заливаясь слезами, она повторяла: «О, Гелене, герр директор ист гештербен!» С этого дня фрау Молли перебралась постоянно жить к дочери в Фарель.

А моя фрау нервничала, беспричинно придиралась ко мне. Один раз довела меня до слез. Рыдая, я заявила, что хочу вернуться в лагерь. Фрау Молли стала успокаивать меня и объяснила, что дочь ждет ребенка, нервы ее не в порядке, она плохо себя чувствует. В эти дни у нее произошла крупная ссора с мужем. Я слышала взволнованный, нервный их разговор, потом Шнайдер визгливо что-то закричал и раздался звон стекла. Утром, убирая спальню, я увидела разбитое окно. Фрау ходила притихшая и виноватая. Сокрушенно качая головой, она сообщила мне, что ее муж был вне себя и в припадке гнева кулаком высадил стекло. Какая причина заставила этого сдержанного немца потерять самообладание, я так и не узнала.

А через несколько дней меня разбудили ночью, сообщив, что у нас несчастье: плохо с фрау. Я сбежала вниз, в квартире была суматоха, приехала «скорая помощь», фрау увезли. На Шнайдера было страшно смотреть, так он осунулся и пожелтел, его убивал суеверный страх, что и вторая жена умрет от родов, как умерла первая. Дня два длилось напряженное ожидание, и наконец стало известно, что фрау лучше. Через неделю она, томная и лирически настроенная, уже была дома, но ребенок не состоялся.

Начались систематические налеты на Фарель. При первых звуках воздушной тревоги вся семья спускалась в подвал. Фрау Шнайдер никогда не забывала прихватить с собой маленький чемоданчик, очевидно, в нем находились все ее драгоценности. В подвале была прачечная с большим котлом и две больших кладовых, у Шнайдеров там всю зиму стояли на полках банки с домашними маринадами, соленьями, бутылки с соками, даже из бузины фрау делала сок. Так на фоне этих аккуратных заготовок во время воздушных налетов торжественно располагалась вся семья. Я же с упорством фаталистки оставалась в своей каморке. Как-то ночью была особенно сильная бомбежка, я лежала в своей постели, снизу из подвала меня настойчиво звала фрау, а мне не хотелось двигаться. Надо мной, казалось, разламывалось небо от грохота взрывов, а в душе росло ликование. Приближался конец войне!

Двадцатого июля 1944 года – день великой надежды – покушение на Гитлера. Хорошо помню, как обе мои фрау возбужденно о чем-то говорили, затем вошли ко мне на кухню, и, пытаясь спрятать свое радостное воодушевление, сообщили, что Гитлер убит. Я реагировала сдержанно. А на следующий день, когда они прочитали в газете, что «Бог спас фюрера», – какие постные, разочарованные были у них лица! Впервые я оценила этих двух немок по-новому.

Лето 1944 года несло ощутимые перемены. Казалось, сам воздух насыщен обещанием близкого освобождения от наших бед. Каким волнующим был день, когда мощный, торжественный гул заполнил Фарель. Звено за звеном в течение получаса, строгими квадратами проплывали над городом сотни могучих

американских бомбардировщиков, вероятно, их курс лежал на Берлин. Фрау распахнула балкон, лихорадочно закурила, позвала меня и срывающимся от волнения голосом крикнула «Гелене, берите сигарету, курите! Здесь курите!» Первый раз я закурила в комнатах. Так мы стояли в будуаре, на пороге балкона, задрав головы к небу и дымя сигаретами, хозяйка-немка и я.

Я бы сказала, что и шеф стал демократичнее со мной в эти дни, разрешал иногда себе какую-либо шутку, а то вдруг спросит меня что-нибудь по-французски. Фрау не знала языка, и потому я не очень охотно отвечала ему.

Однажды они ушли в кино, а нам с Ирмгардт оставили на ужин макароны с соусом из свежих томатов. Поев, я хотела спрятать остатки в холодильник, но Ирмгардт сказала, что можно съесть все: «Так велела Мамми», – добавила она. Я не заставила себя долго уговаривать, в то время томатный соус казался сказочно вкусным, и я мгновенно проглотила его. Поздно вечером вернулись мои шефы, снизу доносились их веселые голоса, затем хлопнула дверь, по лестнице раздались быстрые, поднимающиеся шаги, в дверь моей комнатушки резко постучали, и рассерженный голос Шнайдера произнес: «Гелене, варум хабэн зи майнэ зоусэ аусгефрессен?» Он произнес именно «аусгефрессен» – т. е. «выжрали»! Он был взбешен! О, бедный директор, бедный, ему так хотелось томатного соуса! Фрау хохотала внизу как сумасшедшая. Шутил ли Шнайдер или вынужден был, очнувшись, превратить этот эпизод в шутку – не знаю. Словом, все обошлось. Впрочем, он не был злым человеком. Однажды, убирая его кабинет, я случайно разбила стекло книжного шкафа, Шнайдер ни слова не сказал мне, просто на

следующий день приехал с завода мастер и застеклил шкаф.

По воскресеньям со второй половины дня я обычно шла в лагерь. Туда приходили и девушки, работавшие у бауэров, и парни с Фарельской обувной фабрики. С одним из них, Владимиром Ш., постепенно я познакомилась ближе, чем с другими. Это был рослый, общительный молодой человек не более двадцати пяти лет. Несколько раз я возвращалась вместе с ним из лагеря в Фарель. Однажды по дороге он доверительно сообщил мне, что служил в Черноморском флоте Севастополя, бежал из плена и с оккупированной территории был отправлен в Германию. Я вкратце рассказала о себе.

Однажды Владимир намекнул мне, что на его фабрике есть смелые, замечательные парни и что скоро должно произойти нечто значительное. Никаких подробностей он не сообщал, но предложил посетить их общежитие. С одной из лагерных девушек я пришла в их барак, там было многолюдно, шумно, бойкие молодые люди шутили, смеялись. Кое-кто из них перебросился с нами несколькими пустяковыми фразами, но серьезного, доверительного разговора не произошло. Я ничего не выяснила у Владимира, а он никогда больше не касался этой темы. Не последовало потом и обещанного значительного события. Я сочла все сказанное им не действительным, а только желаемым. Владимир Ш. был единственным из русских, узнавшим в то время, что я – актриса ЦТКА. Впоследствии он, вернувшись через несколько лет после окончания войны на Родину и попав, по-видимому, в затруднительное положение, ссылался на мое имя. Я же не могла подтвердить его версию о

подрывной деятельности подпольной организации Сопротивления, членом которой он якобы состоял в Германии, т. к. не имела о ней никаких фактических сведений.

В начале осени фрау объявила, что меня отзывают в лагерь. Так я простилась со Шнайдерами. У меня нет оснований посылать проклятия в адрес этой немецкой семьи. В меру своего положения и возможностей все они были человечны со мной, не считая глупой маленькой Ирмгардт, да и та в день моего ухода из дома подарила мне открытку с нежной надписью. Что-то человечное пробудилось и в ней.

Фашистская пропаганда искалечила не одно поколение. Я с содроганием наблюдала из окна кухни, как на городской лужайке за нашим домом происходила муштра гитлеровской молодежи. Это были мальчишки возраста наших пионеров. Надо было видеть, что вытворяли «командиры» из их же среды со своими подчиненными, сколько жестокости и высокомерия проявляли они, требуя беспрекословного повиновения от своих товарищей! На моих глазах формировались характеры будущих палачей.

Итак, я вернулась в лагерь. На память о фрау у меня сохранился обрывок забракованного ею фото, который я вынула из мусорной корзины. На меня смотрит энергичное, в чем-то немного смешное лицо женщины, которая имела возможность быть моей мучительницей, но не стала ею, и оставила о себе все-таки хорошие воспоминания.

В наш лагерь стали заходить власовцы. Я удерживала девочек от общения с ними. Некоторые из этих предателей пытались агитировать, вербовать в свои

ряды наших парней, к счастью, тщетно. Держались власовцы внешне развязно, бойко произносили заученные агитационные речи, но лица у них были неспокойные. Особенно зачастил в лагерь один из них – матерый антисоветчик гигантского роста, с бандитской физиономией, кажется, его тоже звали Владимир. Он завязал тесную дружбу с Надеждой К., и та, мне кажется, выполняла его поручения, далеко выходящие за рамки личных отношений. Куда и зачем она ездила на своем велосипеде и свободно отлучалась из лагеря даже на 2–3 дня, осталось загадкой.

В это время наш знак «ОСТ» внезапно был заменен другим: в овальной рамке из цветов синий крест наподобие старинного Андреевского. В этой перемене мы усматривали влияние власовцев, однако, в чем был смысл этого, мы не знали. Оба эти знака у меня сохранились.

Помню интересный эпизод. С одной из наших девушек я шла по пустынным вечерним улицам Фареля в госпиталь к работавшим там знакомым русским женщинам, в нескольких шагах перед нами шел немецкий военный. Мы вполголоса говорили о власовцах. Естественно, наши оценки их деятельности и выводы о них были резко отрицательными. Внезапно немец остановился, обернулся к нам и заорал в бешенстве на чистом русском языке: «Вы дуры, дуры, безмозглые дуры! Рассуждаете о том, чего не понимаете!..» – и мы шмыгнули в ворота госпиталя. Вслед за нами несся крик ярости и боли, очевидно, мы задели мучительные сомнения и колебания этого типа.

В эти дни Моторенверк почти не работал. Частые воздушные тревоги заставляли рабочих покидать завод, при первых звуках сирены немцы садились на свои велосипеды и катили по домам. Иностранные рабочие с шутками и веселым оживлением рассеивались по лесу. Всех объединяла возросшая надежда на конец войны. Авиабомбы сбрасывались далеко от Нойенвеге, мы не ощущали опасности и вели себя как на приятной прогулке, разбивались на дружеские группы и обменивались отрадными новостями. Только один раз меня настиг чудовищный грохот, и по кронам деревьев застучали осколки. Я припала к земле. Стало страшно. Грохот нарастал и закончился взрывом такой силы, что казалось, взлетел на воздух весь завод. Это упала бомба на Фарель. Мы ждали повторов, но они не последовали. В октябре–ноябре, как помнится, налеты прекратились. Наступила томительная пауза. Поздняя осень 1944 года не принесла нам долгожданного освобождения. Всеобщий подъем и радостные надежды сменились разочарованием. Надо было ждать, ждать, терпеливо ждать конца.

Пожалуй, к этому времени можно отнести наш концерт самодеятельности в помещении кантины, где обычно обедали французы и немцы. Не помню, по какому поводу он состоялся, но сам концерт ярко запомнила, потому что после длительного перерыва в моей актерской профессии я впервые выступила с чтением. Перед отъездом на фронт, в марте 1942 года, я познакомилась со стихотворением К. Симонова «Жди меня», которое, если не ошибаюсь, первоначально было напечатано в одной из газет. Оно сразу же пленило меня своей искренностью и горячей

сердечностью. Простые, точные его мысли были так естественны, так органичны, как будто я сама их выразила именно этими словами. Оно сразу входило в душу. Учила текст в поезде Москва – Юго-Западный фронт. Несколько смущала его интимность. Не потеряется ли она перед особой аудиторией воинов действующей Армии? Но первые же концерты рассеяли мои сомнения. Слушали меня всегда с большим вниманием, я поняла, что это стихотворение зажило новой жизнью, оно теперь посвящалось не одному человеку, а сотням, от имени этих сотен бойцов я произносила его. Выразительницей их желаний и надежд, их доверенным лицом делалась я. Между мной и аудиторией возникла дорогая, духовная связь. Стихотворение вселяло веру в то, что любящие дождутся возвращения с войны своих любимых. Позже, когда я осталась одна и терпела бедствия в скитаниях, то в трудные минуты отдельные его строки иногда беззвучно напоминали о себе и поддерживали веру в то, что я выживу. Сейчас это может показаться преувеличенным или даже вымыслом, но это действительно было так. Сила подлинного искусства неизмерима. В те минуты сам по себе возникал образ моей мамы, и, конечно, это к ней мысленно обращалась я словами стихотворения – этими заклинаниями: «Жди меня, и я вернусь!» В опасные моменты дети зовут только мать. Связь с матерью и потребность в ее поддержке остаются на всю жизнь, хоть иной раз мы этого и не осознаем.

Было это стихотворение и пропуском в доверие. Прочитав его разведчице Наде и ее проводнику Паше, я стала им понятнее, ближе, они ответно открылись мне,

поверив в то, что я действительно актриса, попавшая в эти сложные обстоятельства.

И наконец концерт в лагере.

Трудно передать ощущение, мною тогда испытанное! Это было не выздоровление после болезни, а скорее, *новое рождение* умершей моей профессии. Перед концертом у меня и в мыслях не было того, что я буду чувствовать в нем. Но вот мы расселись на скамейках кантоны, вот заиграли поляки на скрипках. Музыка разбудила давно забытые эмоции. Потом на эстраду вышла Аллочка П. В самодельном одеянии из каких-то прозрачных тряпочек. Ей казалось, что она балерина. Ее неумелые, по-юному угловатые движения и позы были трогательны своей наивностью и искренней увлеченностью. Потом кто-то из девушек пел, затем выступил хор из нескольких человек, после сего образовалась пауза, по-видимому, состав номеров концерта был исчерпан. И тут на сцену вышла я. Нет! Я не вышла, меня неожиданно понесло туда, потому что непреодолимая потребность высказаться внезапно возникла во мне. Я очутилась перед знакомыми лицами своих товарищей по лагерю, они ждали, что я скажу. Волнение перехватало мне горло. Глухим, чужим голосом я произнесла первые слова, а потом горячее чувство влилось в строки, и я стала единым целым с моими бедными, исстрадавшимися соотечественниками. Они слушали меня, и слезы текли по их лицам. Плакали даже мужчины. Когда я кончила, ко мне бросились, обнимали, благодарили, просили переписать на память это стихотворение. Каждому казалось, что это именно его мысли, его слова! Видя, какое волнение охватило весь зал, наш лагерфюрер Эумэ потребовал у меня объяснения. Я,

как могла, перевела ему по-немецки смысл, он успокоился. Так стихотворение Константина Симонова жило разными жизнями. Посвященное одной женщине, оно перешагнуло барьер интимности и стало моральной поддержкой многих. Если бы Константин Михайлович узнал об этом, я думаю, он был бы доволен.

Последний день 1944 года мы отпраздновали хорошо. С шоссе принесли кувшин молока, сделали крем, испекли лепешки, получился торт с кремом. Пригласили на кофе в наш барак военнопленных французов, те подкупили часового и пришли на полчаса к нам, торжественные, счастливые.

У меня хранится галантное письмо на мое имя с благодарностью за этот праздник. Вот его перевод: «Дорогая Мадам! От имени всех моих товарищей, присутствовавших вчера на славном празднике, так хорошо удавшемся, от всего сердца я Вас благодарю за теплый прием, которым Вы нас удостоили. Мы глубоко тронуты Вашим уважением к нам и молим Бога, чтобы однажды оказаться в горячо любимой Франции или Бельгии, в стране подлинной Свободы. Поблагодарите от нас всех русских девушек за их милое отношение к нам. Деганземан, Фрезен, Вилле, Баптист, Милон. 1 – 1 – 1945 г.».

В январе сорок пятого года у меня стала болеть и пухнуть стопа правой ноги. Дошло до того, что я не могла ходить, и Эумэ отправил меня в Фарельский госпиталь на операцию. Там для иностранных рабочих был отдельный барак, санитаром которого работал отец Тамары Т. Александр Васильевич, он же отвозил меня после операции в палату и рассказывал мне, что,

отходя от наркоза, я говорила на трех языках: французском, немецком и русском. В госпитале я пролежала почти три месяца. Перевязки, процедуры, дважды меняли гипс, выписывать меня не торопились. В палате было тепло, кормили вполне удовлетворительно, я блаженствовала. Заботлив был Александр Васильевич, о нем я храню добрые воспоминания. Вечерами в его каморке собирались иностранные рабочие, приносившие новости о ходе военных событий, иногда забредала туда на костылях и я.

В это время наш лагерь постепенно расформировывался. Однажды пришла попрощаться со мной и моя Надя С. Она очень выросла и возмужала за годы лагерной жизни. Из робкой девочки, нуждавшейся первоначально в моей помощи, она превратилась теперь в самостоятельную, рассудительную девушку. С радостью она покидала лагерь. Ее с группой женщин перебрасывали, кажется, в Оснабрюкен.

Светлой, четкой картиной остался в памяти момент моего выхода из госпиталя. Я стою с Александром Васильевичем под лучами яркого весеннего солнца, небо – синее, вокруг нежная зелень распускающихся почек, мартовский ветер веселит и тревожит. Мне так радостно, как будто я сейчас поеду не в лагерь, а по меньшей мере в Россию.

И вот я опять в своем бараке, он заметно опустел. В нашей штубэ холодно, просторно, и выглядит она для меня совсем чужой. Появляется сухая пожилая немка типа классной наставницы, это наша новая смотрительница. Она не в мундире, а в каком-то

стареньком, темном платье. Эумэ и Янсон отсутствуют. Эта новая фрау не обращает на нас никакого внимания, и видим мы ее редко. На заводе вместо директора Шнайдера – новый, по фамилии Зинкубер. Это кряжистый, подвижный, широкоплечий человек, здоровяк. Его громкий голос, которым он постоянно отдает какие-то приказания, часто слышен возле нашего цеха. Фрау Шайдер позвала меня к себе. Проводил меня в Фарель Рожэ. Оперированная нога очень болела, я еле дошла туда. Фрау ждала рождения ребенка, с ней была Молли, а Шнайдер в это время отбывал наказание в концлагере. Эта новость меня очень удивила. У фрау, однако, было хорошее настроение, что мне показалось странным. Возможно, что этот арест был дипломатическим ходом для обеспечения спокойного будущего. В квартире было чисто, но в столовой стояла печка-времянка с длинной железной трубой, точь-в-точь какие были в России в первые годы революции. Обе женщины встретили меня приветливо, как старую знакомую. Ирмгардт отсутствовала. В доме, так же, как в лагере и как на заводе, чувствовалась новая атмосфера. Нарушен был привычный уклад жизни. Многое стало не обязательным, и только ожидание приближающейся развязки мировых событий занимало мысли и чувства. Мы пожелали друг другу благополучного будущего, и я окончательно простилась с женщинами. Позже фрау прислала мне записку, что родила девочку, дали ей имя Хелла-Бригитте.

В начале апреля отправили из лагеря группу цивильных французов. Взволнованный Рожэ пришел проститься и заверил, что будет ждать меня и держать со мной связь, где бы он ни оказался. Оставшиеся в

лагере, мы с нетерпением стали ждать отправления в новое место, казалось, отъезд приблизит освобождение.

Наконец наступил этот день. Радостные и возбужденные, мы погрузились в автомашину. Нас сопровождала молчаливая наша новая смотрительница. Куда нас везут, она ответила, что не знает. В беспечном, приподнятом настроении, с ощущением близости желанной развязки, мы въехали в город Вильгельмсгафен. И тут произошло то непостижимо чудовищное, то невероятное, что готовила нам чья-то злая, черная воля. Проехав через открывшиеся ворота, мы увидели высокий глухой забор, опутанный сетью из колючей проволоки, по углам вышки с часовыми, прожекторы, несколько бараков и в центре двора большой открытый плац. На нем исхудавшие, с очень белыми лицами люди, по команде женщины в полицейском мундире то падают плашмя на *землю*, то поднимаются на ноги, чтобы вновь по команде упасть.

Нас привезли в концлагерь. Онемевшие, парализованные страшным зрелищем, мы выгрузились из машины, и она тут же уехала вместе с нашей фрау, мне показалось, что она плакала, а мы остались в этой зловещей западне, беззащитные, потерявшиеся, тщетно пытающиеся осознать происходящее. Нас загнали в барак, мы столпились в его коридоре, не зная, что нам делать. Появилась уродка, полубезумная русская, лет 16. Невозможно забыть ее страшное лицо: крошечные глаза, как пуговки, глаза не выросшие, не развившиеся, они близко посажены к переносице, как у птицы, и лишены осмысленности, пустые, ничего не выражающие

крошечные «гляделки», рот искривлен в идиотской улыбке, – она начальница барака, зовут ее Маруся. Кто-то из заключенных шепнул нам, чтоб мы остерегались ее. Мы старались не смотреть на нее, так она была отвратительна и страшна. По ее команде мы вышли во двор, построились в очередь, получили по железной миске и побежали к котлу. По нашим спинам гуляла дубинка Маруси, и она неистово визжала от наслаждения. Все заключенные бежали в своих очередях, отстающих били. Двор представлял из себя водоворот стремительно движущихся фигур, вырваться из этой цепи не было возможности. Получив баланду, мы вернулись в барак и, хоронясь в полутемном коридоре, как будто он мог изменить нашу участь, зажав руками рты, беззвучно рыдали.

И вдруг чье-то дружеское похлопывание по плечу и ободряющие слова по-немецки: «Не плачьте! Все будет хорошо! Я беру вас к себе, на кухню». Это была фрау Марта – повар концлагеря. Ольгу и меня она взяла к себе, и мы целый день были под ее крылом. Это было спасение! С раннего утра до позднего вечера мы укрывались на кухне. Она была для нас своего рода крепостью, защитой от страшной жизни концлагеря. Ни окриков, ни побоев, ни визга идиотки Маруси мы не слышали, нам не надо было бегать за баландой и видеть мучения окружающих страдальцев. Мы подчинялись только Марте и старались в благодарность за оказанное ею нам благодеяние работать безупречно. Кухня стояла в углу за бараками, из ее окон не видно было двора, не слышно было криков и стонов, бредовая жизнь концлагеря была скрыта от нас, в то время как остальные наши

товарищи являлись ее частью, получали физические и моральные удары.

Марта тоже была заключенной, но вела себя очень свободно. Всегда бодрая и энергичная, она не давала нам пасть духом. После работы мы возвращались в наш барак поздно, когда бедные наши товарки уже спали. Их дни проходили в тупом безделье и безысходной тоске.

Среди дня на кухне появлялись две девки – полицайки в традиционной форме, обе украинки, одну из них – наглую блондинку звали Марией, вторая – никогда не встречалась с нами взглядом. Вряд ли у обеих было спокойно на душе в эти приближающиеся к концу войны дни.

Заходил и немец, рыжий, веснушечный, небольшого роста, с заурядным лицом и как будто ничем не примечательной внешностью, этот человек, как нам шепнула Марта, был палачом, злодеем, извергом. Когда он входил, я внутренне содрогалась и старалась не смотреть на него. Марта же с ними вела себя смело, как хозяйка кухни, кормила их в соседней маленькой комнатке, непринужденно беседовала, а потом, когда наступала подходящая минута, она ловко проникала с передачей еды к заключенному в одиночной камере бельгийскому офицеру, подкармливала его, а может быть, и не его одного, а и других. С нами Марта вела доверительные откровенные разговоры. Зная ее великодушие, мы с Ольгой не побоялись подкармливать Владимира Ш., когда он на одни сутки был заключен в подвал под кухней, а также некоторых исхудавших, шатающихся от слабости иностранцев, иногда появлявшихся в подсобном помещении. Они еле

могли шевелить губами, и разобрать, что и на каком языке они произносят, было невозможно, но нам без слов было понятно, что они голодны, и мы поспешно совали в их руки что могли: кусок хлеба, горсть кислой капусты, отварную картошку.

Однажды, как только мы появились утром на кухне, Марта кинулась к нам, сжала наши руки и ликующе прошептала: «Гитлер ист капут!» В этот день среди начальства концлагеря царило замешательство. Несколько раз суетливо забегал палач и в результате, сбросив в каморке свой мундир, переоделся в штатское, и больше мы его не видели. Фашисты разбегались, покидали концлагерь, заметали свои следы. Перевернутые лица были и девок-полицаек. Куда девалась наглость той блондинки – арии, она стала молчаливой, как и ее товарка, озабоченно они шептались друг с другом, видно, решали, как спастись, избежать предстоящей расплаты.

Когда наступил день нашего выхода из концлагеря, а было это 2 мая 1945 года, обе они, переодетые в скромные платья, смешались с толпой бывших заключенных и вместе с нами влились в большой сборный лагерь.

Там мы вскоре потеряли их из вида. Мы жадно глотали воздух свободы, пьянели от него, и не было возможности думать о мщении.

Побывав еще раз на краю гибели и оставшись живой, я теперь уже твердо верила в свою счастливую звезду.

Ведь мы узнали, что весь состав узников этого концлагеря подлежал уничтожению. Но англичане помешали осуществлению намеченного злодейства они сбрасывали с самолета предостерегающие

листовки. Возможно, угроза неминуемой кары или стремительное наступление Советской Армии, при котором палачи едва успевали скрыться, спасая свои преступные жизни, сорвали их дьявольское намерение. Так или иначе, но мы не были уничтожены. Мы жили.

Итак, нас собрал в группу немец в штатском. Мы робко попросили дать нам тачку, – у некоторых из нас были кое-какие вещи. Помню наивные наши клятвы «обязательно вернуть эту тачку в концлагерь» – немец посмеивался. Он знал настоящее положение вещей, мы же только догадывались об этом

Из концлагеря под конвоем мы прошли полевыми дорогами 2–3 километра и влились в сборный, международный лагерь. Это был целый поселок. Разместились по большим сараям с высокими потолками, похожими на ангары. А может быть, эта территория и впрямь была бывшим аэродромом?

Не прошло и получаса, как меня разыскал Рожэ.

Два дня прошло в нетерпеливом ожидании завершающих событий. Уже не узники, но еще и не свободные, мы торопили время, а оно тянулось особенно медленно в полном безделье и неопределенности обстоятельств. Кое-где в этом лагере бродили немецкие солдаты, одни из них еще покрикивали на нас, наводя порядок, другие охраняли склады, но все они выполняли свои обязанности вяло, неуверенно, по инерции.

Пятого мая утром я услышала нарастающий шум, похожий на гул водопада. Это весь лагерь бежал к шоссе, а навстречу возбужденной толпе приближался танк. На нем в картинных позах стояли английские

солдаты. Рукопожатия, ликующие возгласы, приветствия! Англичане бросают в толпу плитки шоколада, пачки сигарет – и так же внезапно, как и появился, танк исчезает. Как видно, это разведка наших освободителей.

Их появление не остается бесследным. Тут же бывшие военнопленные французы занимают кухню, разоружают немецкую стражу. Немцы без сопротивления сдают свои винтовки, склады с продовольствием открыты. Лагерь кутит. Ест тушенку, галеты, на обед получает вкусную стряпню.

Получены сведения о Мотореверке. Французы патрулируют там по дороге, ловят нацистов. Найдены и арестованы Вольф и Эумэ, последний выполняет земляные работы в нашем бывшем лагере. Мне подарили фото, зафиксировавшее этот факт. А директор Зинкубер при появлении англичан, оказывается, прикрепил красную пятиконечную звезду к лацкану своего пиджака. Эти новости веселят, радуют нас, хоть и не все в них понятно. Все празднично настроены, все целыми днями толкутся на открытом воздухе, благо погода теплая, солнечная, все ждут своих избавителей. Мы ждем появления нашего родного Советского командования, представителей Советской Армии. Но по-прежнему никто не появляется, пустынны поля вокруг лагеря, бесшумной лентой убегает куда-то шоссе.

Шестого мая происходит оживление. Приехала группа английских военных, расставлены пикеты польских солдат. Нам объявлен новый режим: лагерь поступает в распоряжение польского генерала Андерса, который снова ставит нас в положение пленных, с полным

лишением свободы. 7 мая проходит в унынии. Передвижение по территории запрещено. Владимир ТТТ. предлагает мне бежать с ним из лагеря и искать наше командование. Я отказываюсь. Боюсь оторваться от коллектива, да и нога еще очень болит после операции. Ш. с одним из своих товарищей уходит в неизвестность. 8 мая не приносит перемен. Настроение падает, у всех оно подавленное, мрачное, мы теряем надежду на скорое освобождение. Кто-то узнал, что Андерс – враг Советского Союза. Ходят слухи, что нас отправят в Англию.

К вечеру прокрадывается из своего барака ко мне Рожэ. Я не видела его два дня. Он по секрету сообщает, что французам удалось тайком выбраться из лагеря и найти свое командование, у которого они получили официальную бумагу с разрешением возвратиться на родину. Завтра вся французская группа едет домой. Рожэ предлагает мне присоединиться к ним. Я соглашаюсь.

На следующий день рано утром несколько новых «студебеккеров» выстраиваются на шоссе. Вбегает ко мне Рожэ, я следую за ним, наспех прощаюсь со своими товарищами. Машины стремительно загружаются французами, выбегает начальник лагеря, зовет на помощь стражу, запрещает отъезд, но ему великолепным жестом торжественно преподносят пропуск… и он умолкает. Я машу рукой Ольге. Сердце готово выскочить из груди от волнения. «Студебеккеры» плавно трогаются с места, лагерь навсегда исчезает за поворотом шоссе.

В пути французы свистят песни, шутят, смеются, с отвращением швыряют на ветер немецкие деньги, а

встречные немцы, взрослые и дети, усердно подбирают их. Когда наша автоколонна проезжает Голландию, жители приветствуют нас особым приветствием – знаком «Виктуар» – «Победа»! Даже маленькие дети делают из своих пальчиков подобие латинской буквы «Вэ». Для этого достаточно сжать в кулак кисть, а указательный и средний пальцы выбросить напряженно вверх и в стороны. Мы отвечаем ликующим криками и такими же приветствиями. Вокруг праздник, счастье! Германия капитулировала! – ведь это 9-е Мая! Я тоже радуюсь, но не той, не полной радостью, какую могла бы ощущать. Я еду во Францию, я еду еще не на Родину!!!

С 14 мая 1945 года я во Франции в качестве невесты Рожэ. В пути была оформлена бумага за его подписью под названием «Промэс де мариаж» – «Обещание женитьбы». Прибываем в Баньолэ под Парижем, здесь в отдельном домике живет его двоюродный брат Ренэ Мейер с женой Элен. Ренэ работает шофером, Элен ведет домашнее хозяйство и вечерами подрабатывает кельнершей в соседнем бистро. До войны эта пара широко пользовалась гостеприимством Рожэ и его ныне умершей жены. Каждое лето Ренэ с Элен проводили у них в Нанте, на берегу Луары. Будучи в лагере, Рожэ списался с ними и заручился их приглашением приехать после своего освобождения, в последнем письме он сообщал и обо мне.

Встреча происходит трогательно, с поцелуями, объятиями, сочувственными вздохами, все мы взволнованы. Поселяемся на первое время здесь, у них. Дня через три Рожэ оставляет меня, а сам едет в Нантэрр к сыну Клоду, который там учился в авиационной школе.

В отсутствие Рожэ я вижу и слышу то, что помогает мне понять истинное положение вещей. Ренэ, добродушный здоровяк, целиком находится под башмаком своей Элен. Она же лицемерна, скупа, эгоистична, из породы женщин-«кошечек», которые прикидываются кроткими и беззащитными, а на самом деле без сожаления могут выцарапать глаза. По-видимому, Элен предполагала, что Рожэ привезет богатые трофеи после капитуляции Германии и ей будет чем поживиться. Но он вернулся на родину с пустыми руками. Элен явно разочарована. Забыто бескорыстное довоенное гостеприимство, которым она пользовалась в Нанте, ее тяготит наше присутствие. Она обманута в своих надеждах и устраивает истерики своему слабовольному недалекому супругу. Я слышу ее отрывочные фразы вперемешку с рыданиями: «Когда они уберутся от нас? Мне надоело их кормить!» Я стараюсь делать вид, что ничего не понимаю, но каждый кусок буквально застревает в горле. Положение не из веселых!

Элен предлагает мне поработать один-два вечера вместе с ней в бистро. Я охотно соглашаюсь. До моего появления в роли кельнерши ловкая женщина проводит специальную обработку постоянных клиентов: рассказывает им сентиментальную историю дружбы в немецком плену между ее родственником и русской женщиной. Заканчивает она рекламировать меня тем, что вечером можно будет увидеть «повр рюсс» – бедную русскую за стойкой бистро. Реклама имеет успех. Бистро переполнено посетителями, все пялят беззастенчиво на меня глаза, каждому хочется получить свое вино из моих рук. Я едва успеваю всех обслужить. Элен ходит между столиками и, проходя

мимо, угрожающе шепчет: «Больше улыбайтесь! Больше!» Наверное, я слишком серьезна для этой роли, а потому не все клиенты раскошеливаются на щедрые «чаевые», но тем не менее к концу этого малоприятного представления у меня набирается значительная сумма сантимов и франков. Как только уходит последний посетитель, Элен бесцеремонно запускает свою жадную руку в мой карман, и его содержимое переходит в ее сумку.

Наконец вместе с Клодом возвращается Рожэ. Он намерен через несколько часов, забрав с собой меня, ехать в деревню Экзирёй к дочке Шанталь. Элен не приглашает Рожэ и Клода в дом, а демонстративно запирает его на все замки и уходит. У Рожэ ошеломленное лицо. Мы коротаем время в садике перед домом. Клод приносит из магазина какую-то снедь, затем провожает нас на вокзал.

Обрезанная фотография – Елена Ивановна со своим французским мужем Роже.

Первые впечатления об Экзирёй весьма своеобразны. С вокзала Сен-Мэксан-Лэколь мы пересекли городок и вышли на его окраину к старинной часовне. Дорога повела нас мимо огородов на покрытую виноградниками гору. Там, на ее вершине, виднелась деревенская церковь и крыши домов. В эти ранние

часы ни один человек не повстречался нам в пути. Мы поднялись по крутой, каменистой тропе и вышли на круглую площадь. Отсюда, по описанию Клода, рукой подать до дома, где живут Жоржегт и ее муж Реймон. Действительно, повернув в узкую, как коридор, улочку, с двух сторон которой высились глухие каменные стены заборов, наивно увенчанные осколками стеклянной посуды, мы скоро оказались возле убогого строения, мало похожего на жилой дом. Это была дряхлая, полуразвалившаяся хижина, сложенная из традиционного песчаника. Долго нам не открывали дверь. За ней слышались растерянные, глухие голоса, наконец прогремели засовы, и нас впустили.

Переступив порог, мы сразу же оказались в большом темном помещении, еле различая Жоржетт и Реймона, кинувшихся обнимать Рожэ. Тут же была сдернута с единственного окна занавеска, стало чуть светлее, и я увидела в углу на кровати сидящую смуглую девочку с широко раскрытыми черными глазами. Я осторожно подошла к ней. Она была в чрезвычайном возбуждении, казалось, вот-вот заплачет. Рожэ успокоил ее, она пришла в себя и поздоровалась с нами.

Это была Шанталь.

Тягостное впечатление произвела комната. Пыльные стены, паутина у потолка, громадный очаг черен от копоти, всюду разбросана немытая посуда, куски хлеба, остатки еды, одежда и разный хлам. Шанталь спит в куче грязного тряпья, такие же постели и у стариков. Не комната, а берлога первобытных людей. Детт – так назвала свою тетку Шанталь – повела нас через примыкающий к комнате овин на второй этаж.

Мы поднимались по шаткой деревянной лестнице, и я ждала увидеть пыльный, захламленный чердак, где нам предназначено поселиться, но, к моему приятному удивлению, наверху оказалась светлая, миниатюрная комнатка с большим окном, смотрящим в сад, с опрятной кроватью и столом со стулом.

Этот крестьянский дом, как и вся старинная деревушка, были живой иллюстрацией к той Франции, о которой я читала в рассказах Мопассана. Чем-то Экзирёй напомнила мне и наши горные грузинские селенья, но только они были чище, светлее и живописнее, а эта деревня была уж очень неприглядна со своими полуразвалившимися, грязными хижинами, прячущимися за глухими, неприступными заборами. Впервые здесь я увидела отверстия в стенах домов, через которые непосредственно на улицу выливались помои. Вероятно, подобные стоки сохранились здесь еще со времен средневековья. То, что стены от них в цветных подтеках и под ними никогда не просыхающие зловонные лужи, по-видимому, никого не тревожило.

В такой чудовищной обстановке прожила несколько военных лет Шанталь. Сюда жена Рожэ – Леонн эвакуировалась с детьми из Нанта, здесь же она умерла, так и не дождавшись своего Рожэ, а Шанталь осталась одна с теткой и дядей, т. к. ее обожаемый брат Клод уехал учиться в Нантэрр.

В свои 11 лет девочка была похожа на пятилетнюю: окружающая обстановка затормозила ее развитие и превратила в нервного ребенка с трудным характером. Какой дикий вопль, какие неистовые крики услышали мы в тот же день к вечеру! Выбежав из дома, мы обнаружили за решеткой соседнего сада Шанталь. С

перекошенным от ужаса лицом, она вопила так, будто за ней гналась стая волков, а на самом деле никакая опасность ей не угрожала, просто калитка случайно сильно захлопнулась и не давала ей выйти. Уровень знаний этой девочки был чрезвычайно низкий, она плохо училась в местной школе, читала по слогам, еще хуже писала, говоря, коверкала слова, сюсюкала, хныкала, всего боялась, часто плакала. Необходимо было приняться за ее перевоспитание.

Несколько первых дней прошли в визитах к соседям. Сперва я думала, что такова традиция, но вскоре поняла, что Детт и Реймон спекулируют нами для того, чтобы бесплатно выпить винца. Увы! Эти с виду почтенные пожилые супруги были самые настоящие пьяницы. Беззастенчиво тащили они нас то в один, то в другой дом, рассказывали там о нас всегда одно и то же. Это звучало примерно так: «Вот, смотрите, это – бедная русская, она была так мила с нашим Рожэ, они помогали друг другу в плену»; или: «Вот, смотрите, это – наш Рожэ, он герой, он спас бедную русскую от голода». Затем вспоминались добрым словом покойная Леонн и бедные дети, оставшиеся без матери. Кувшин с вином хозяев постепенно пустел. К теме о могиле Леонн, находящейся на соседнем кладбище, старики подходили уже изрядно набравшись, так что их речь все чаще прерывалась междометиями, упоминанием доброго Бога, языки заплетались, а затем и вовсе они замолкали, поспешно прощались с хозяевами и тащили нас в другие дома. Вытерпеть это было невозможно, и вскоре Рожэ наотрез отказался от подобных унизительных представлений.

Тут подошло ему время ехать в Нант, надо было заканчивать свои военные обязанности и наладить бытовые дела. Для меня наступили томительные дни ожидания его возвращения. По утрам Шанталь была в школе, старики промышляли, где бы раздобыть вина В деревенском бистро им уже не отпускали его в кредит, поскольку они сильно задолжали, подбрасывал им время от времени Рожэ на стаканчик-другой, но с его отъездом эта возможность кончилась, соседи больше не приглашали к себе, настроение стариков портилось, без вина жизнь была им не в жизнь, они ссорились между собой.

Реймон стал придираться ко мне. Однажды, сидя в своей комнатке, я услышала, как он заорал: «Пусть эта русская убирается вон!» Я проскользнула черным ходом на улицу, спустилась с горы и весь день провела в полях. Вернулась к вечеру и застала Шанталь на дороге, девочка бросилась ко мне и заплакала. Войти в дом она не могла: одна дверь была закрыта изнутри, а вторую прижимала своим телом пьяная Детт, валявшаяся на соломе овина. Кое-как мне удалось через щель отодвинуть потерявшую рассудок старуху, и мы вошли. Реймон храпел на своей лежанке. Обстановка делалась невыносимой. Мне было жаль девочку, и я старалась, чем могла, облегчить ее существование. С каждым днем Шанталь привязывалась ко мне все больше и больше.

Фотография сделана в 1946 году во Франции.

Маленькая Шанталь.

Однажды пришли ко мне два полисмена, расспросили обо всех обстоятельствах и велели прийти в город за удостоверением личности. Один из них особенно внимательно разглядывал меня. На следующий день я ушла в Сен-Мэксан, получила эту бумажку и, выходя на улицу, была остановлена тем самым ажаном, который проявил ко мне интерес. В вежливой форме он пригласил меня в соседнее бистро выпить с ним стаканчик вина, но предупредил, чтобы я пришла туда минут через десять. Я поняла, что ему нужна конспирация. В назначенное время я прошла в глубину двора, где было это бистро и у входа уже маячил ажан. Он провел меня на застекленную веранду в стороне от основного зала, там мы оказались с ним одни за длинным банкетным столом. Бесшумно появился гарсон, принес вино и пирожные. Ажан был очень любезен, сдержан, не позволил себе ни малейшей вольности, словом, вел себя превосходно. Трудно было понять, для чего он затеял это свидание. Возможно, он выполнял свой служебный долг, детально интересуясь моей судьбой, и остроумно выбрал для этой цели непринужденную обстановку – бистро, а может быть, просто решил немного поразвлечься. Он сообщил мне, что впервые в своей жизни разговаривает с русской, что ему это очень интересно, и, видя как я спокойна и серьезна с ним, он стал рассказывать о себе, что он женат и у него целая куча детей, и попросил никому не говорить о нашем свидании.

В ближайшие дни предполагался праздничный парад в городе. «Мадам, я приглашаю Вас на праздник! Вы получите большое удовольствие, я буду ехать впереди

на белом коне», – заявил он с нескрываемой гордостью. Я засмеялась. Это прозвучало так покоряюще провинциально, наивно!

В хорошем настроении я вернулась в Экзирёй и тут же в шутливых тонах написала Рожэ, что у меня появился поклонник из местной полиции. Я рассчитывала вместе с Рожэ посмеяться над этим пустяковым эпизодом. Но я переоценила возможности моего друга. В день его приезда, только мы успели с Шанталь вернуться с вокзала, по досадному недоразумению не встретившись с ним, как он сам стремительно ворвался в комнату, рывком поднял меня с постели и, осыпая упреками в измене, задыхаясь, свалился на стул. Эти африканские страсти были вызваны моей неосмотрительной откровенностью и подогреты отсутствием меня на вокзале.

Смешно и одновременно досадно было мне улаживать эту «бурю в стакане воды», но Рожэ страдал недоверием и ревностью. Я поняла, что привычная моя прямота, юмор, а главное, такие качества, как свободолюбие и самостоятельность, – все это здесь, во Франции, не может быть правильно понято даже таким добрым и любящим меня человеком, как Рожэ. Он часто говорил мне еще в Германии: «Ты слишком авторитетна, слишком самостоятельна, у нас женщины не такие».

Без всякого сожаления я покинула Экзирёй. Рожэ увез меня и Шанталь в Нант. Жизнь в Нанте вспоминается как стремительное мелькание дней, насыщенных делами, заботами, новыми впечатлениями. Город сильно пострадал от войны, особенно заметные разрушения были в районах, примыкающих к

железнодорожным линиям и к реке Луаре. Тут лежали груды кирпичей на месте бывших домов, но центр сохранился больше, и благодаря этому Нант выглядел как живописный, уютный город. Понравился мне старинный замок, окруженный глубоким рвом. По подъемному мосту мы вошли во внутренний просторный двор, здесь находилось здание мэрии. А когда мы возвращались оттуда, то на дне рва увидели двух пятнистых ланей, которые с безмятежным изяществом щипали сочную траву. Это было очень красиво. Понравились мне и нарядный пассаж в центре города с его множеством лепных украшений, недалеко от него здание театра в стиле ампир, на площади большой фонтан с выразительными скульптурами, затем многие другие солидные дома и, наконец, Луара – красавица-река, несущая свои могучие воды в близкий Атлантический океан и украшенная древними замками и современными виллами, которые прятались в зелени садов и парков. После потерь военного времени город постепенно оживал. Возвращались из эвакуации постоянные жители, с каждым днем увеличивалось движение транспорта, открывались кафе и магазины.

Нант пытался не отставать от Парижа и спешил предложить модницам изобретательную имитацию подлинных товаров. Это были босоножки на деревянных платформах и «Ба ликид» (жидкие чулки) – флаконы с краской для ног. На улицах продавались «фритт» – ломтики кипящей в жире картошки, излюбленное лакомство французской молодежи, в жаровнях жарились каштаны, шла бойкая торговля живыми цветами. По улицам ходили группами длинноногие, чернокожие канадские солдаты в своих

рыжих формах. На площадях располагались передвижные цирки, зверинцы, ярмарки со всевозможными аттракционами, комнатами смеха и разными чудесами.

Шанталь воспринимала все это с восторгом наивного ребенка и была счастлива. Она начала ходить в школу и делала заметные успехи в ученье. Нервы ее успокаивались, и она становилась послушнее, ласковее и умнее. Только когда я расчесывала ее густые, вьющиеся кудри, она визжала как поросенок и вырывалась из моих рук. В Экзирёй ее волосы не приводились в порядок по несколько дней и сбивались в паклю, с непривычки эта процедура теперь казалась ей слишком болезненной, однако постепенно с этим она освоилась и перестала мучить меня своими капризами. Я занималась хозяйством и привыкла к своеобразию города.

Такие провинциальные привычки, как, например, жителей Баньолэ, приветствовавших покупателей при входе в любой магазин словами: «Месье! Дамм!», или деревенский обычай Экзирёй – здороваться на улице с любым прохожим, в Нанте отсутствовали, но все-таки это был город более простых нравов и большего добродушия, чем блистательный, великолепный Париж. Особенно это ощущалось на окраинах Нанта, где жизнь проходила медленнее, спокойнее, чем в его центре, и где люди охотнее общались друг с другом.

Мы поселились как раз в одном из таких районов, недалеко от Луары, на бульваре Виктора Гюго. Но это произошло не сразу. Первые два месяца мы нашли гостеприимный приют в квартире Ренэ и Ирэн Бомон. До войны Рожэ работал у Ренэ в его мастерской, и

теперь эти взаимоотношения возобновились. Ирэн была необычайно сердечна, мягка и тактична, она своим отношением к нам полностью оправдала доброе мнение об отзывчивом французском характере, которое так грубо было попрано Элен и Реймоном. Безусловно, мы стесняли Ирэн и Ренэ в их миниатюрной квартирке, но они ни единым взглядом не давали нам этого почувствовать.

Наконец нам предоставили квартиру в сильно разрушенном доме. Это был высокий второй этаж, куда мы с трудом поднялись по лестнице, заваленной кирпичами. Дверь в квартиру отсутствовала, ее заменяла груда щебня. Так же выглядели и комнаты с лохмотьями обоев, разбитыми стеклами в окнах и в дверях балкона. Из комнаты на кухню и из коридора в другую комнату мы свободно проходили через проломы в стенах. Пришлось положить много труда, чтобы привести эту квартиру в состояние, пригодное для жилья. Мы дружно принялись за работу, и в результате наши усилия увенчались успехом. Рожэ поставил двери, залатал стены, вставил стекла. Я вынесла камни и щебень, отмыла паркеты. Как радовался Рожэ, когда все было закончено и получилась удобная квартира из двух комнат, с кухней, чуланом и туалетом.

На основные продукты питания еще оставалась карточная система, но помню, что в магазинах не слишком строго ее придерживались. Во всяком случае, в булочной месье Визоно, где я всегда покупала хлеб, этим карточкам не придавали особого значения. Рожэ отдавал их сразу за весь месяц добродушному хозяину-толстяку, а потом приходила я и покупала хлеб без ограничений, сколько было нужно.

Полюбились мне булки длинной почти что в метр. Поистине, это были настоящие «батон» – по-русски «палки». До войны у нас в России таких не выпекали. Черного хлеба я во Франции никогда нигде не видела. Мясо мы ели только по воскресеньям, когда я, как правило, готовила «беф а ля карот» – тушеное мясо с морковью, а всю неделю питались овощами, благо их такое привлекательное разнообразие было во Франции. Чаще всего я делала суп из лука-порея, а ели его мы, набросав в тарелку куски белого хлеба, которые размокали в бульоне и казались нам очень вкусными.

Начинался обед с обязательного салата. Всевозможные сорта зеленого салата, так же как и помидоры, я заправляла по просьбе Рожэ оливковым маслом и чесноком. После супа чаще всего ели картофель или какую-нибудь капусту, а то и вкусные артишоки. Сваренные в соленой воде, их сочные лепестки напоминали по вкусу нечто среднее между спаржей, молодым картофелем и кольраби. Заканчивался обед неизменным сыром камамбер, и всегда во время еды пили красное алжирское вино пополам с водой.

Это был типичный, стандартный обед французского рабочего.

Научилась я делать и крем из жареных каштанов с шоколадом и сбитыми яйцами, что очень одобрял Клод, изредка навещавший нас. Этот юноша был гордостью Рожэ и действительно заслуживал всяческих похвал. Оставшись в годы войны без родителей, он блестяще окончил школу и был принят в авиационный институт. Приехав во Францию, мы застали его накануне получения диплома инженера. Он был чрезвычайно

молчалив, замкнут и глубокомыслен, понять, как он ко мне относился, было невозможно. Сначала его неразговорчивость меня смущала, но потом я поняла, что он не игнорирует меня, а ведет себя так со всеми. Со временем я освоилась с ним, и мне даже стало казаться, что Клод одобряет мое появление в их семье. А почему бы ему и не одобрять его? Сестра была ухожена мною, отец тоже. Моими стараниями их жизнь стала налаженной, уютной и сытной.

В городе было множество маленьких буфетов с вином, по-нашему «забегаловок», а по-французски «бистро». Возникновение этого названия связывается с войной 1812 года и разгромом Наполеона, когда русские казаки в Париже так произносили наше слово «быстро». По традициям, французские рабочие забегали в бистро, любили после работы посидеть с приятелями за рюмкой аперитива или стаканчиком вина, мирно беседуя не менее получаса, а уж потом расходились по домам, где их ждали жены с обедом. Придерживался этой традиции и Рожэ.

Его «бутик» – мастерская, где он изготовлял деревянные изделия для кораблей речного флота, находилась на бульваре Виктора Гюго, недалеко от дома. В обеденный перерыв он заходил по дороге в бистро, а затем, облаченный в свой «блё» – синюю рабочую спецовку, направлялся домой. Он очень любил, когда я с балкона приветствовала его в этот час.

Возрождение всех довоенных привычек делало Рожэ счастливым и уверенным в благополучии своей жизни.

Нельзя не отметить отношения официальных лиц Франции ко мне – иностранке, оно удивляло меня

доверием и щедростью. По дороге из Германии, приехав в город Лилль, где массы людей распределялись по нужным им городам, когда я проходила эту процедуру, меня спросили: «Вы дэпортэ политик?» – т. е. «политически высланная?», я ответила утвердительно, учитывая свое пребывание в концлагере. В углу моей регистрационной карточки мгновенно были проставлены две буквы – ДП. В дальнейшем, уже в Нанте, эта отметка неожиданно дала мне возможность получить щедрую сумму помощи от мэрии, несмотря на то, что я не меняла своего подданства и оставалась гражданкой Советского Союза. На эти деньги я купила красивые туфли, шляпу, зонтик, сумку и даже элегантное пальто.

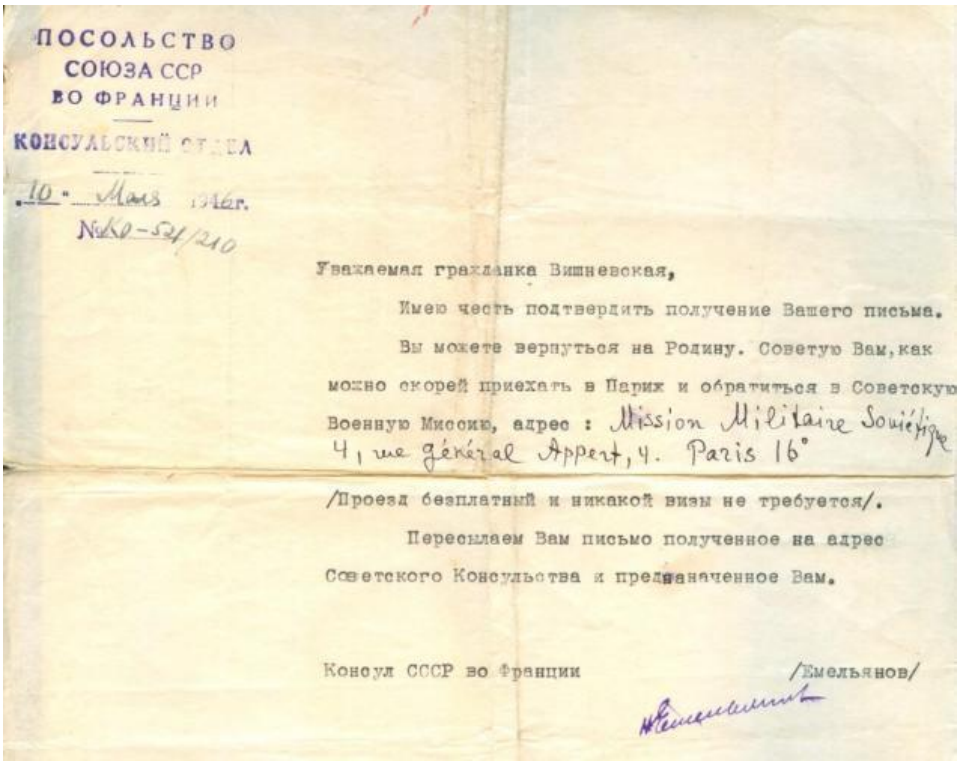
Оформляя в Нанте «карт дидантитэ» – удостоверение личности, я не подвергалась допросам, не заполняла анкет. Комиссар полиции только спросил меня: «А вы действительно не немка, а русская?» И, видя мое искреннее негодование, тут же заулыбался и вручил документ. В течение полугода наравне с Рожэ я пользовалась дополнительным питанием по специальным карточкам.

Ну а о Рожэ нечего и говорить! Он, как бывший военнопленный, бесплатно получил два комплекта штатской одежды, куда входили обувь, белье и элегантные костюмы. Франция любовно встречала своих сынов и дочерей, возвращавшихся из немецкого плена.

С нашего балкона был виден вдали дом Ирэн и Ренэ. Каждое воскресенье мы проводили вместе с ними. Ездили к Луаре, катались на лодке или ходили в кино. Кинокартины были на редкость сентиментальные, с

неизменной темой трагической любви. Чаще всего героини красиво умирали от чахотки, благословляя своих возлюбленных на брак с другими женщинами, или, если оставались здоровыми, то травились ядами, стрелялись из пистолетов от неразделенной любви, а то и уничтожали своих соперниц и коварных любовников. Ирэн и Шанталь обливались слезами, смотря эту белиберду. Но некоторые фильмы доставляли и мне удовольствие, в частности, прелестная мультипликационная картина Диснея «Белоснежка и семь гномов», которую много позже я с радостью вновь смотрела в Москве.

Французское удостоверение личности Елены Вишневской.



ПОСОЛЬСТВО
СОЮЗА ССР
ВО ФРАНЦИИ

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

10 Mars 1946г.
№ Ко-521/210

Уважаемая гражданка Вишневская,

Имею честь подтвердить получение Вашего письма.

Вы можете вернуться на Родину. Советую Вам, как можно скорей приехать в Париж и обратиться в Советскую Военную Миссию, адрес : Mission Militaire Soviétique 4, rue général Appert, 4. Paris 16°

/Проезд безплатный и никакой визы не требуется/.

Пересылаем Вам письмо полученное на адрес Советского Консульства и предназначенное Вам.

Консул СССР во Франции /Емельянов/

Извещение из посольства СССР во Франции в ответ на заявление Елены Вишневской.

В театр мы не ходили. Не было лишних средств, да и Рожэ не испытывал никакой потребности в этом. Он был далек от искусства театра, от живописи, от художественной литературы, его духовные запросы вполне удовлетворяли ежедневная газета и воскресное посещение кино. Он был честный работяга, талантливый модельер по дереву, хороший семьянин и добрый, деликатный человек. Мне кажется, что в любом, даже самом аристократическом обществе он держался бы с достоинством и никого не шокировал бы своим поведением, а между тем он вышел из простой рабочей семьи и не имел специального образования. Ему присуща была глубокая внутренняя интеллигентность. Он был спокоен, тактичен, чувствителен к переживаниям других. Вот почему он смог без колебаний разрешить мой отъезд в Париж. Он

видел, как я тоскую по маме, по Катюше, как я рвусь на Родину. При первой же возможности он дал мне денег на поездку в столицу для того, чтобы я связалась с нашим посольством и определила свои дальнейшие действия.

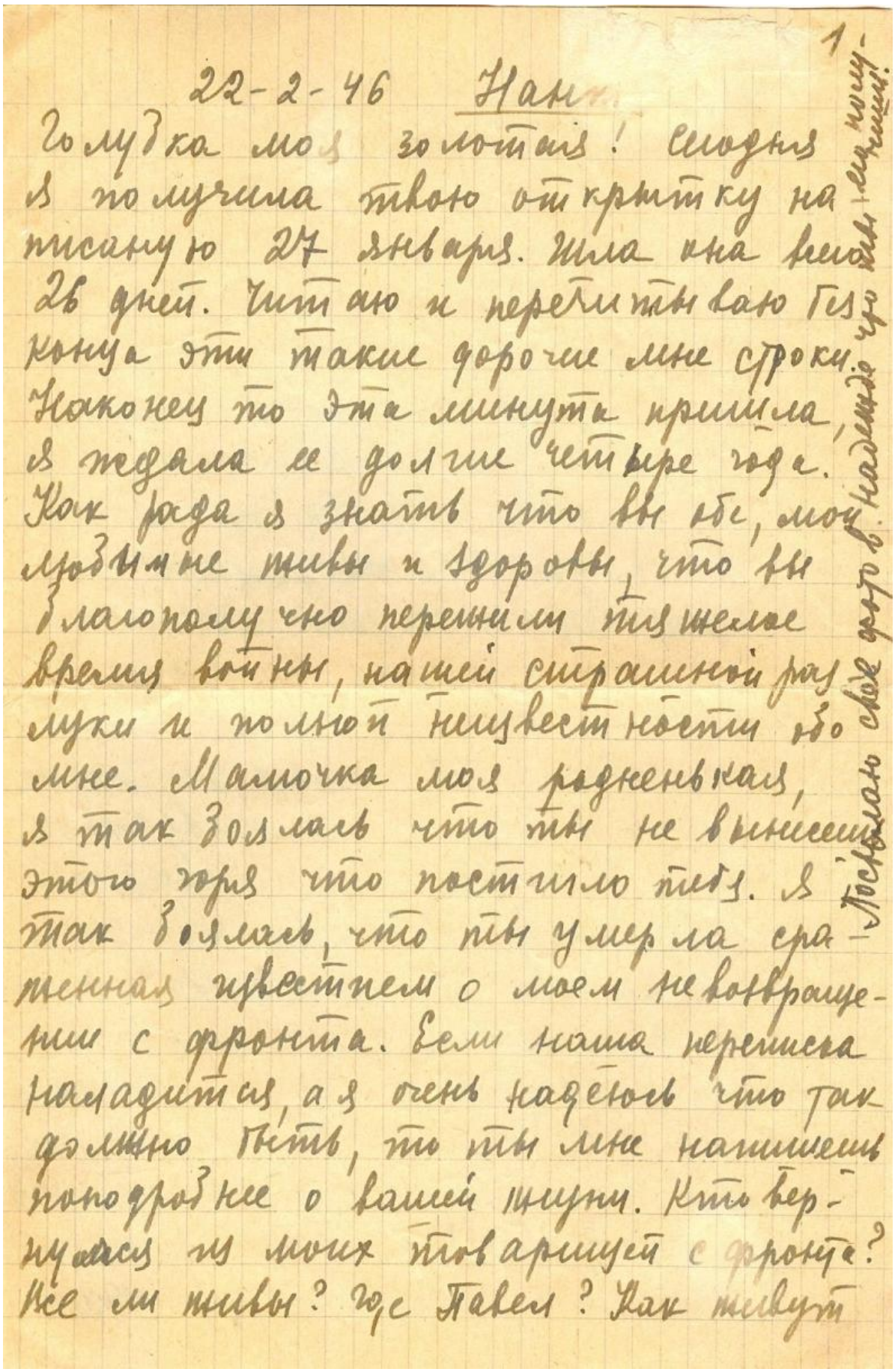
Всю ночь я ехала в сидячем вагоне, утром в окно купе увидела сначала окраины Парижа с садовыми участками, крошечными летними домиками, а потом стеной пошли вдоль поезда дома, и удивило меня обилие тонких труб на крышах. Это был целый густой лес непривычно тонких труб. Париж в основном отапливался каминами. Это были трубы каминов.

Я посетила советскую военную миссию, дала сведения о себе, написала в Москву маме два письма. Начальник миссии любезно выдал мне бумагу, позволяющую бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом для последующих приездов в Париж.

Семнадцатого октября я полупила советский заграничный паспорт. Для этого надо было зарегистрировать мой брак с Рожэ, что мы и проделали в советском консульстве Парижа. Мое пребывание во Франции получило законное оформление и тем сделало меня спокойнее и увереннее. Вернувшись в Нант, я стала ждать ответа из Москвы.

Он пришел только через четыре месяца. Это было в феврале 1946 года. Я шла с продуктами из города, с балкона увидел меня Рожэ, кинулся навстречу, на лестнице вручил открытку, я сразу узнала почерк мамы, прочла дорогие строки, оба мы заплакали от счастья. Мама и дочь были живы и ждали меня.

Елена Вишневская в 1948 году.



1

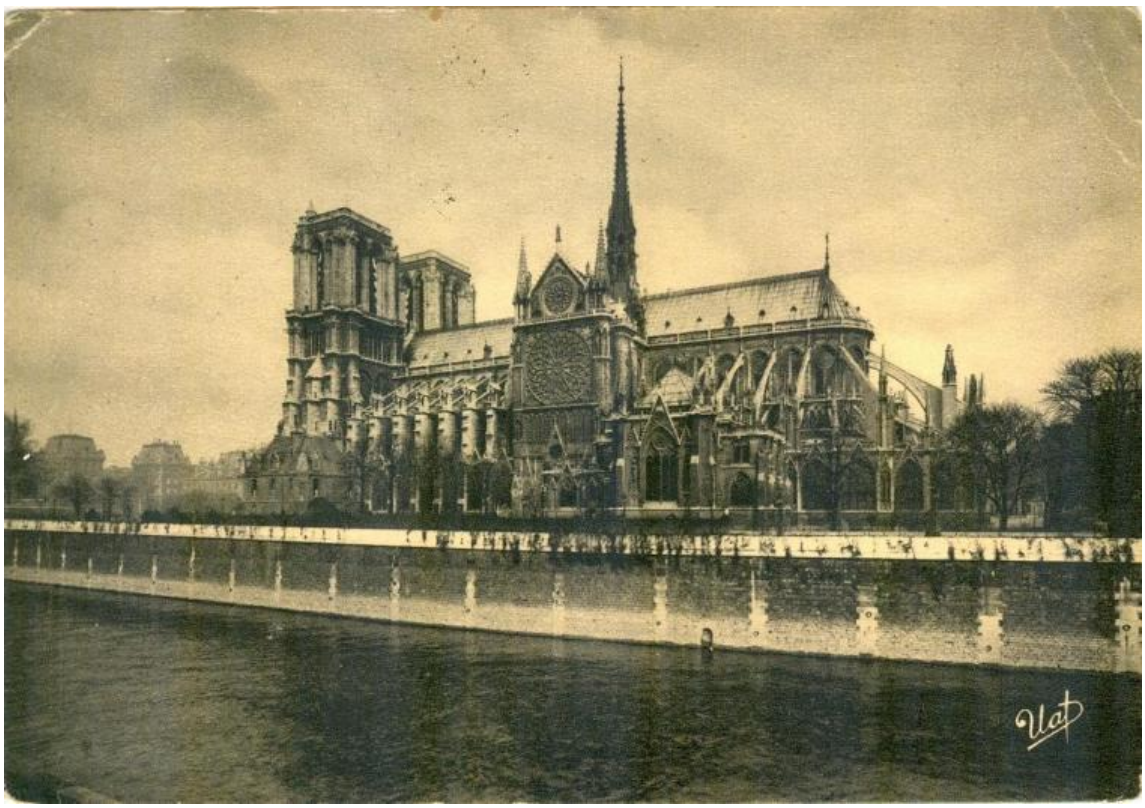
22-2-46 Нан

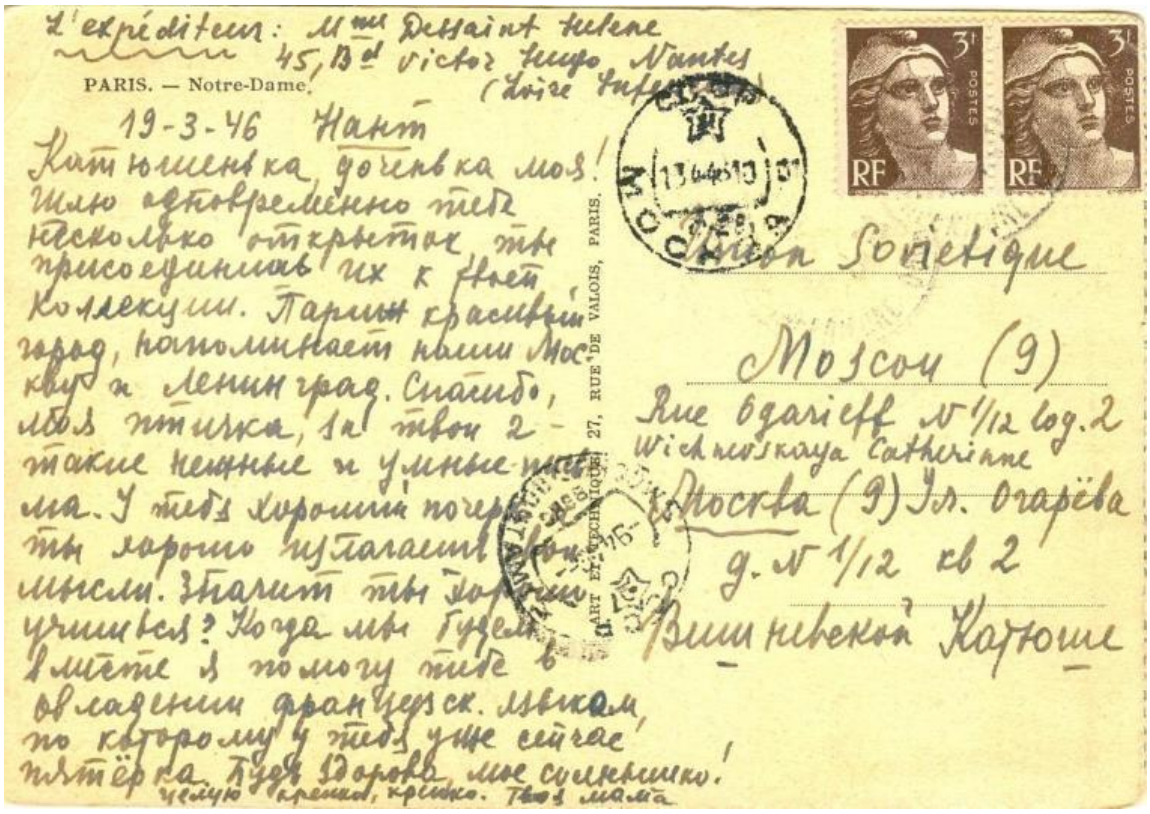
Голубка моя золотая! Сегодня я получила твою открытку написаную 27 января. Шла она всего 26 дней. Читаю и перечитываю без конца эти такие дорогие мне строки. Наконец то эта минута пришла, я ждала ее долгие четыре года. Как рада я знать что вы обе, мои любимые живы и здоровы, что вы благополучно пережили тяжелое время войны, нашей страшной разлуки и полной неизвестности обо мне. Мамочка моя родненькая, я так боялась что ты не вынесешь этого горя что постигло тебя. Я так боялась, что ты умерла сраженная известием о моем невозвращении с фронта. Если наша переписка наладится, а я очень надеюсь что так должно быть, то ты мне напишешь поподробнее о вашей жизни. Кто вернулся из моих товарищей с фронта? Все ли живы? Где Павел? Как живут

Посылаю свое фото в надежде что ты его получишь!

Первое послевоенное письмо Елены Ивановны маме и дочке из Франции.

Весна и лето проходят в регулярной переписке с Москвой и в серьезных, глубоких беседах с Рожэ. Мы решаем сложную задачу нашего будущего. Каждый из нас не хочет и не может жить на чужбине. Мы приходим к выводу, что наша разлука неизбежна.





Такие открытки посылала дочери Елена Ивановна из Франции.

К этому времени у меня налаживаются взаимоотношения с консульским отделом советского посольства. В любое время мне предлагается репатриация. Я назначаю середину июля, как самый безболезненный момент для разлуки со мной Шанталь. Девочка уехала на летние каникулы к родственникам в провинцию и, таким образом, не присутствовала при моем отъезде.

Роже и Шанталь много лет спустя – они много лет находились с Еленой Ивановной в переписке.

Восемнадцатого июля 1946 года – начало моего возвращения на родину. Это день отъезда из Нанта. Рожэ хотел проводить меня до Парижа. Я отказалась. Растягивать прощание было бы слишком мучительно, особенно для Рожэ. Он оставался с потерей меня, а я, теряя его, приобретала счастье Родины, семьи, профессии.

Последние минуты. Вокзал Нанта. Очень бледное, но улыбающееся лицо Рожэ.

Прощаемся навсегда.

Ночь в поезде, утром я в Париже.

Начальник советской военной миссии, очаровательного радушия человек, предоставляет лине широкое гостеприимство в уютном особняке миссии на улице генерала Аппара. Я свободна, я целыми днями брожу по Парижу. Если опоздаю к обеду, все равно найду в столовой миссии в любое время еду. Там на столах круглые сутки высятся горы домашних пирогов, закуски и бутылки с вином. Каждое утро я спрашиваю начальника, не сегодня ли меня отправят в Москву, но он предлагает ждать, хочет найти самый удачный вариант моего отъезда.

Уцелевшие участники фронтовой концертной бригады Центрального театра Красной Армии на встрече в ЦДРИ в 1974 году. У микрофона Елена Вишневская, слева – Е.

Виленская, справа – Н. Сазонова и С. Великов.

К Парижу я не готова. Болит голова, мало наличных денег, а главное, я вся уже в Москве. Как говорится – «Мне не до Парижа!». Но тем не менее он властно околдовывает меня.

Восемь дней промчались как один день. А дальше – не было конца растущему счастью!!!

Рассвет 26 июля. Аэропорт Бурже. Я сажусь в военный самолет «Дуглас», и через несколько часов я на родной земле, в Москве, со своими!

Меня окружают любимые люди!!!

Я вновь – актриса Театра.

…В фойе московского Дома актера ВТО на улице Горького есть мраморная доска, на которой золотыми буквами высечены имена актеров, погибших на фронте. Среди них имена моих товарищей:

A. **Корзыков (Саша)**
B. **Пильдон (Веня)**
А. Романова (Тося)

Б. Рудый (Боря).

Я назвала свои воспоминания о войне «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ».

В этом нет преувеличения.

В самом деле, если проследить все сложнейшие, а зачастую даже *смертельные* обстоятельства, в которых

я оказалась, то станет ясно, что судьба меня щадила и отстраняла от меня мою гибель. Мало того, что я *осталась в живых*, мне еще удалось сохранить душевное равновесие и не потерять рассудок от кошмаров пережитого. Четыре мучительных года я жила с ощущением тяжелого горя. Боль за судьбу дорогой Отчизны, за кровно близких мне людей никогда меня не оставляла. Можно было от этого сломиться – потерять волю к жизни, *но этого не произошло*.